





Дэвид Герберт ЛОУРЕНС



ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ
СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ
ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2018

УДК 821.111
ББК 84 (Вел)
Л78

Серия основана в 2007 году

Перевод с английского
Т. Лешенко-Сухомлиной,
Р. Облонской, В. Бернацкой

Лоуренс Д. Г.

Л78 **Любовник леди Чаттерлей. Сыновья и любовники. Влюбленные женщины. Полное издание в одном томе / Пер. с англ. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1036 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).**

ISBN 978-5-9922-2736-9

В одном томе публикуются три самых известных романа одного из популярнейших английских писателей XX века — Дэвида Герберта Лоуренса (1885—1930) — «Любовник леди Чаттерлей», «Сыновья и любовники», «Влюбленные женщины».

УДК 821.111
ББК 84 (Вел)

© Перевод Р. Облонской. Наследники, 2018
© Перевод В. Бернацкой. Наследники, 2018
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

ISBN 978-5-9922-2736-9

**ЛЮБОВНИК
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ**

Предисловие автора

Несмотря на всеобщий антагонизм, я выпускаю на свет эту повесть как честную, хорошую, здоровую книгу, нужную нам в настоящее время. Слова, которые кажутся сначала такими бесстыдными и резкими, перестают быть ими через некоторое время. Значит ли это, что сознание развращено привычкой к ним?

Нисколько. Это происходит потому, что слова возмущают только глаз, но отнюдь не само сознание. Пусть глупцы продолжают возмущаться, — их мнение все равно ничего не значит. Умные люди понимают, что они не возмущены и, в сущности, никогда не были возмущены, и испытывают чувство облегчения. И в этом-то вся суть. В настоящее время мы далеко ушли от разных табу, унаследованных нашей культурой. Это очень важное обстоятельство. Вероятно, для крестоносцев сами слова были исполнены такой силой и заклинательной властью, которую нам трудно себе представить. Сила внушения так называемых неприличных слов была, должно быть, очень опасна для темных, тупых и жестоких натур Средних веков. И возможно, до сих пор слишком она сильна для тупоумных и неразвитых людей. Но подлинная культура позволяет нам придавать слову только ту силу и качество, которые принадлежат нашему сознанию, и спасает нас от буйных и безотчетных физических реакций, могущих разрушить общественные законы приличия. В прошлом человек был слишком туп или груб, чтобы относиться к своему телу и своим физическим отправлениям без того, чтоб не погрязнуть в чисто физических реакциях, которые совершенно подчиняли его себе. В настоящее время мы знаем, что действие не обязательно следует за мыслью. Культура и цивилизация научили нас отделять слово от дела, мысль от действия. Мы знаем, что это две различные формы сознания, две различные жизни, которые мы переживаем. Конечно, совершенно необходимо поддерживать между ними связь. Но в то время, как мы думаем, — мы не действуем, а когда действуем — не думаем. Есть огромная необходимость в том, чтобы мы действовали согласно нашим мыслям, — и мыслили согласно нашим поступкам. Оба состояния мысли и действия взаимно исключают друг друга. Но они должны были бы гармонично сливаться.

И в этом главная суть этой книги. Я хотел бы, чтобы мужчины и женщины могли думать о половом вопросе всеобъемлюще, честно, полно и чисто. Все эти разговоры о молодых девушках и девственности, как о белом листе бумаги, на котором ничего не написано, чистейший вздор. Девушки и юноши представляют из себя бурлящий водоворот и мучительно запутанный узел половых чувств и мыслей, который может распутать только время. Годы искренних и честных мыслей о половых отношениях и борьбы за них наконец приведут нас к нашей цели, — к полной и совершенной чистоте, к гармонии между половым актом и мыслью, когда одно не будет препятствовать другому.

Я совершенно не хочу сказать, что все женщины должны искать себе любовников среди лесников, — что они вообще должны искать себе любовников. Большинство современных мужчин и женщин счастливее всего, когда они воздерживаются от половых сношений и избегают их, оставаясь чистыми, и в то же время когда они лучше понимают и сознают все значение полового вопроса. Наше время есть, скорее, время обсуждения, чем действия. В прошлом было слишком много действия, особенно в половом отношении, — томительного повторения одного и того же акта без соответствующей мысли и представления. После векового замалчивания сознание требует полного знания. Но тело, в сущности, остается в загоне. В наше время люди почти принуждают себя к половым сношениям. Они делают это, ибо думают, что от них этого ждут. Но этим заинтересовано только сознание, а тело приходится искусственно возбуждать. Это происходит оттого, что наши предки предавались половым отношениям, не думая и не сознавая их, — и теперь сам акт стал скучным, механическим и неудовлетворяющим. Только свежая мысль освежит это переживание.

Наше сознание должно нагнать наше физическое «я» во всех его проявлениях. Мы должны прийти к равновесию между осознанием полового акта и самим актом, гармонично слить их. Это значит: иметь должное уважение к половым отношениям и физическим переживанием. И не бояться употреблять так называемые неприличные слова, ибо они являются выразителями нашей физической жизни. Непристойность существует только тогда, когда сознание презирает и боится тела, а тело ненавидит и противится сознанию. В человеческом сознании живет древний ужас перед телом и его силами, и мы должны развивать наше сознание, чтобы сделать его культурным в этом отношении. Страх перед телом привел к сумасшествию огромное количество людей. Безумие такого большого мыслителя, как Свифт, произошло отчасти по этой причине. В поэме к своей возлюбленной Целии он повторяет: «Но Целия, Целия мочится!» — ...Конечно она мочится, кто этого не делает? Но Свифта приводило в ужас это естественное физическое отправление. И подумайте о бедной Целии, которую этот любовник так унижительно принуждает стыдиться своего тела. Это чудовищно. И это происходит из-за запретных слов и оттого, что наша мысль недостаточно развита в физическом и половом самосознании.

Как контраст лицемерному замалчиванию, которое приводит людей к половому идиотизму, мы видим многих заносчивых молодых людей, которые заходят слишком далеко и ничего на свете не уважают. От прежнего чувства страха перед телом и отрицания его существования эта передовая молодежь вдалась в другую крайность и обращается с телом, как с забавной игрушкой, правда, иногда неудобной, но из которой можно извлечь некоторое удовольствие, прежде чем она сломается. Такая молодежь смеется над важностью полового вопроса, считается с ним не больше, чем с рюмкой водки, и дразнит этим старших. Такая молодежь отнесется с презрением к такой книге, как «Любовник леди Чаттерлей». Для них эта книга слишком проста и обыкновенна. Непристойные слова им безразличны, а любовь они считают старомодной. Они считают, что книга изобличает мышление четырнадцатилетнего мальчика. Но, может быть, мышление четырнадцатилетнего мальчика, который еще сохранил природный трепет и уважение к половым отношениям, здоровее, чем мышление остроумных молодых людей, которые ничего не уважают и заняты только игрой в жизнь, для которых пол является одной из самых забавных игрушек и которые, играя с ним, теряют свои умственные способности.

Итак, среди породы добродетельных лицемеров, которые к старости обыкновенно впадают в половую непристойность; среди молодого поколения, которому все позволено; среди низких некультурных людей с грязным воображением, — для этой книги найдется мало места. Но всем им я могу сказать только одно: оставайтесь с вашими извращениями, если вам это нравится, — извращением добродетели, остроумного бесстыдства и грязного воображения. Я же буду держаться моей книги и моей мысли. Жизнь оправдана только тогда, когда тело и мысль находятся в гармонии, когда между ними есть естественное равновесие и когда они взаимно уважают друг друга.

Париж, апрель 1929 года
Д. Лоуренс

Глава первая

Век наш, по существу, глубоко трагичен, поэтому мы отказываемся воспринимать его трагически. Катастрофа произошла, мы среди развалин, мы начинаем строить новые жилища, питать новые надежды. Это трудная работа, в наше время путь в будущее полон препятствий, но мы обходим их или перелезаем через них. Мы должны жить во что бы то ни стало. Таково приблизительно было положение Констанции Чаттерлей. Война разрушила весь ее прежний мир, и она поняла, что человек должен жить и учиться. Она вышла замуж за Клиффорда Чаттерлея в 1917 году, когда он приехал домой с войны в отпуск. Сразу же после медового месяца он вернулся во Фландрию, а полгода спустя

его отправили обратно в Англию, — разбитым на куски. Его жене Констанции было двадцать три года, а ему двадцать девять.

Его жизнеспособность была поразительна. Он не умер, и куски его, казалось, срослись опять. В течение двух лет он оставался в руках докторов. Потом он был признан выздоровевшим и мог снова вернуться к жизни, но нижняя часть его тела, начиная с бедер, была парализована навеки. Это было в 1920 году. Клиффорд и Констанция вернулись в имение Рагби — родовое имение Чаттерлеев. Его отец умер, Клиффорд унаследовал титул баронета и стал сэром Клиффордом, а его жена — леди Чаттерлей. Они вернулись вести хозяйство и совместную жизнь на сравнительно небольшой доход в неприветливый дом Чаттерлеев. У Клиффорда была сестра, но она уехала из Рагби. Старший брат был убит на войне. Других близких родственников не было. Искалеченный навсегда и зная, что он никогда не сможет иметь детей, Клиффорд вернулся домой, носить и поддерживать родовое имя, пока мог.

Он был в очень подавленном состоянии. Он мог передвигаться в своем кресле на колесах по комнатам, и у него было другое кресло — моторное, в котором он мог объезжать большой и грустный парк, которым он очень гордился, хотя и делал вид, что парк ему безразличен.

Он слишком много перестрадал и поэтому способность к страданию теперь как бы оставила его. Он был веселым и бодрым, с румяным, здоровым лицом и светло-голубыми, вызывающими глазами. Его плечи были широкими и сильными, его руки чрезвычайно сильными. Он был прекрасно одет и носил дорогие галстуки. И все же на его лице было настороженное и отсутствующее выражение, свойственное калекам. Он был так близок к потере жизни, что то, что было оставлено ему, стало теперь драгоценным для него. По его бодрому и напряженному взгляду было очевидно, как горд он был остаться в живых после такого ужасного ранения. Но ему пришлось испытать так много боли, что внутри его что-то погибло, некоторые чувства в нем умерли. Его жена Констанция была сильная, здоровая женщина с мягкими темными волосами и крепким телом, с медленными, но полными энергии движениями. У нее были большие, слегка удивленные глаза и мягкий голос. Она выглядела как будто только что приехала из деревни. Но это было совсем не так. Ее отец был известный в свое время художник королевской академии, — сэр Мальком Рейд. Ее мать была одной из культурнейших женщин своего времени. В среде художников и образованнейших социалистов Констанция и ее сестра Хильда получили так называемое свободное и эстетическое воспитание. Их возили в Париж, Рим и Флоренцию — впитывать атмосферу искусства, а также в Гаагу и Берлин на социалистические съезды, где ораторы говорили на всех языках и никто ничего не стеснялся. Поэтому девушки с ранних лет совершенно не боялись ни искусства, ни политики. Это было обычной для них атмосферой. Они были одновременно космополитичны и провинциальны. Когда младшей исполнилось пятнадцать лет, их послали в Дрезден — учиться и музыке, поми-

мо всего остального. И они прекрасно проводили там время. Они жили свободной жизнью в кругу студентов, они спорили с мужчинами о философии, социализме и искусстве, — они были на равной ноге с ними. Они бродили по лесам в обществе юношей, с гитарами в руках. Они пели песни и были свободны. Свободны! Какое чудесное слово! На просторе, в лесу, с веселыми и красивыми студентами, свободны делать все, что им нравилось, и главное, говорить все, что им хотелось. И самым важным и интересным были эти разговоры, — бесстрастный обмен мнений. Любовь была только второстепенным придатком этих разговоров. И Хильда и Констанция вскоре пережили свои пробные любовные связи. Молодые люди, с которыми они так страстно спорили и так весело пели и бродили по лесам, — конечно, желали любви. Девушки вначале не решались, но об этом так много говорилось, это считалось таким важным, и мужчины так смиренно жаждали этого. Почему же девушка не могла сделать царский подарок и подарить себя кому хотела? И они подарили себя тем двум из юношей, с которыми вели самые жаркие и тонкие споры. Эти споры были самым главным, любовь и связь были, в глазах девушек, как бы примитивным противовесом их.

Вы меньше любили мужчину после этого. Вы были даже склонны немного ненавидеть его, — он как бы вторгся в вашу личную жизнь и внутреннюю свободу. А ведь все достоинство и цель жизни женщины состояли именно в достижении абсолютной, чистой и благородной свободы. Какое другое значение могла иметь жизнь женщины? — стряхнуть с себя старые и мрачные предрассудки и отношения. И как бы вы ни сентиментальничали, половые отношения были самым древним и мрачным предрассудком. И большинство поэтов, которые воспевали их, были мужчинами. А женщины всегда знали, что есть нечто высшее и лучшее. Теперь они знали это определеннее, чем когда-либо. Прекрасная, чистая свобода женщины была в тысячу раз лучше всякой половой любви. Самым печальным во всем этом было то, что мужчины далеко отстали от женщин в этом понимании. Они настаивали на половом акте, как животные. И женщина сдавалась. Мужчина был как прожорливый ребенок. И женщина должна была давать ему то, чего он хотел. Иначе он, как капризное дитя, мог порвать и отбросить то, что было, в сущности, очень приятным дружеским отношением. Но, уступая мужчине, женщина могла в то же самое время не отдавать ему себя, свое внутреннее «я». Этого поэты и любители рассуждать на половые темы, очевидно, не учли. Женщина могла иметь мужчину, не отдавая себя всецело. Она могла отдать себя и все же не покориться ему. Даже наоборот — она могла воспользоваться этой половой связью, чтобы иметь власть над ним. Для этого она только должна была сдерживаться во время полового акта, — предоставить ему кончить, не достигая сама кризиса, — а уже затем продолжать сношение и прийти к своему собственному оргазму, в то время как он оставался пассивным и был для нее только инструментом.

Обе сестры пережили свои пробные любовные связи ко времени начала войны. Они не были сильно влюблены в своих молодых друзей, за исключением тех моментов, когда были очень близки — то есть когда они были действительно глубоко заинтересованы разговором друг с другом. Они испытывали глубокий, невероятный восторг от этих страстных споров с каким-нибудь умным юношей. И так изо дня в день — месяцами.

И если после этой близости, возбужденной живым и душевным разговором, половые отношения были неизбежны, — то что же, пусть! Они были как бы окончанием главы. И они тоже имели свою прелесть, странную вибрирующую радость внутри тела, трепет самоутверждения, как последнее слово.

Когда девушки приехали домой на летние каникулы в 1913 году — Хильде было двадцать лет, Констанции восемнадцать, — их отец ясно увидел, что они познали любовь. Но сам он пережил многое в свое время и предоставил жизни идти своим путем. Что касается матери, больной, нервной женщины, доживавшей последние месяцы своей жизни, она хотела для своих дочерей только одного: свободы и самоопределения. Ей самой никогда не суждено было иметь их, — бог весть почему. Ведь она имела свои собственные средства и могла делать все, что хотела. Она винила своего мужа. Но на самом деле это было результатом ее собственных запретов и предрассудков, от которых она не могла избавиться. Это отнюдь не было виной сэра Малькома, который предоставлял своей пылкой и нервной жене идти своим путем, в то время как он шел своим.

Итак, девушки были свободны и вернулись в Дрезден к музыке, университету и своим молодым друзьям, которые любили их со всем пылом интеллектуального притяжения. Все замечательные вещи, которые молодые люди говорили, думали и писали, — они думали, говорили и писали для этих женщин. Любовник Конни увлекался музыкой, а любовник Хильды был склонен к точным наукам. Но жили они только для своих подруг — интеллектом, а где-то внутри были слегка уязвлены, хотя и не сознавали этого. Было очевидно и по ним, что они вкусили любви, ее физической стороны. Любопытно, как тонко, но безошибочно это меняет тело как мужчин, так и женщин. Женщины становились более цветущими, более округленными, их юные угловатости сглаживались, и на их лицах появлялось торжествующее и вопрошающее выражение. Мужчины становились тише, самоуглубленнее, и контур их плеч казался менее уверенным.

Обе сестры в половом восторге своих тел все же почти поддавались таинственной власти мужчин. Но они быстро справились с этим, отнеслись к этому как к определенному ощущению, и остались свободными. Между тем мужчины в благодарность женщинам отдали им свои души. И выглядели потом как люди, потерявшие рубль и нашедшие копейку. Но таковы мужчины, думали девушки. Неблагодарные и всегда недовольные. Если вы не принадлежите им — они ненавидят

вас за это, а когда принадлежите — они опять ненавидят вас за что-то другое. Или просто ни за что ни про что, как недовольные дети.

Но вот наступила война. Конни и Хильду спешно вызвали домой, на похороны матери. Уже к Рождеству 1914 года молодые немцы были убиты. Сестры рыдали и страстно любили их, но в глубине души скоро забыли, — любовники перестали существовать для них.

Обе сестры жили с отцом в Лондоне и вращались в кругу молодежи Кембриджа, в той группе, которая стояла за свободу и носила фланелевые штаны и рубашки с открытым воротом. Они стояли за эмоциональную анархию (в известных рамках), говорили полупшепотом и обладали сверхутонченными манерами.

Хильда неожиданно вышла замуж за старшего члена этой кембриджской группы, человека на десять лет старше ее, у которого были деньги и теплое местечко в министерстве. Кроме того, он писал философские статьи. Она поселилась с ним в небольшом доме в Вестминстере и стала вращаться в том хорошем кругу чиновников, которые, не будучи сливками общества, являлись или могли бы являться истинной и умной силой нации. Это были люди, которые знают, о чем говорят, или, по крайней мере, выглядят так, как будто знают.

Конни имела небольшую службу в Красном Кресте и бывала с молодыми людьми в фланелевых штанах, которые мягко подсмеивались над всем и всеми и ничего не боялись. Лучшим ее другом был Клиффорд Чаттерлей, который приехал домой из Бона, где он изучал технику каменноугольных копей. Перед этим он провел два года в Кембридже. Теперь же он был офицером в одном из лучших полков и, будучи в форме, мог еще остроумнее подсмеиваться над чем угодно. Клиффорд Чаттерлей принадлежал к лучшему и более высокому обществу, чем Конни. Конни была богатой интеллигенткой, он был аристократом. Его отец был баронетом, а мать — дочерью виконта. Но, несмотря на то что Клиффорд был более светским, чем Конни, в то же время он был более провинциальным и застенчивым, чем она. Он чувствовал себя дома только в узком кругу высшего света и был очень нервным и робким в остальном мире, который состоит из огромных масс среднего и низшего класса и иностранцев.

По правде сказать, он немного боялся среднего и низшего человечества, а также иностранцев, не принадлежавших к аристократии. Он был как бы парализован сознанием своей незащитности вне своего класса, хотя и имел на своей стороне все преимущества и права. Это одно из любопытных явлений среди аристократии в наше время.

Поэтому мягкая самоуверенность такой девушки, как Конни, положительно восхищала его. Она владела собой в этом мире хаоса неизмеримо лучше, чем он.

Несмотря на все это, он тоже был одним из бунтовщиков. Он был даже против своего собственного класса. Может быть, «бунтовщик» слишком сильное слово. Он был только захвачен общим сдвигом молодежи, которая была против старых предрассудков и всякого рода ав-

торитетов. Отцы были нелепы. Его собственный упрямый отец — нелепее всех. И власти были нелепы, особенно выжидательно настроенные члены парламента. И армия и генералы, особенно краснолицый Китченер. Даже война была нелепостью, хотя она и уничтожала много народу. В сущности, все было более или менее нелепо, особенно то, что касалось власти, будь то в армии; в правительстве или в университетах. И правящий класс, поскольку он претендовал на управление государством, был также нелеп.

Сэр Джоффри, отец Клиффорда, был чрезвычайно нелеп, вырубая свой лес для окопов и отправляя на войну рабочих своих каменноугольных копей, сам оставаясь в безопасности, но из патриотизма тратя на благо родины больше денег, чем у него было.

Когда мисс Эмма Чаттерлей приехала в Лондон из Мидленда¹, чтобы ухаживать за ранеными, она очень удачно острила насчет сэра Джоффри и его упрямого патриотизма. Херберт, старший сын и наследник Рагби, откровенно смеялся над ним, хотя деревья, которые сэр Джоффри вырубал для окопов, были деревьями из его леса. Но Клиффорд только неловко улыбался. Правда, все это было действительно нелепо. Но ведь когда это слишком близко касалось вас, вы рисковали стать нелепым тоже. Люди другого общества, как Конни, были, по крайней мере, серьезны хоть в чем-нибудь. Они во что-то верили.

Они были серьезны, когда говорили о солдатах и проведении рекрутского набора, о недостатке сахара и молока для детей. Но Клиффорд не принимал всего этого близко к сердцу. По его мнению, власти были нелепы вообще, а не из-за солдат и молока. И власти чувствовали это и вели себя нелепейшим образом. Пока не появился Ллойд-Джордж и не спас положения. То, что он сделал, превысило всю нелепость момента, — и молодежь перестала смеяться.

В 1916 году Херберт Чаттерлей был убит, и Клиффорд стал наследником Рагби. Он ужаснулся этого. Важность его значения, как сына сэра Джоффри и детища Рагби, была так непреложна для него, что он никогда не мог от нее избавиться. Но он знал, что в глазах всего огромного мира — это тоже было нелепо. И вот теперь он был наследником Рагби и нес на себе всю ответственность этого. На самом деле, разве это не было ужасной и в то же время великолепной нелепостью?..

Это не было нелепостью для сэра Джоффри. Он был напряжен и бледен, весь ушедший в себя и упрямо решивший спасти свою страну и свое собственное положение. Ллойд-Джордж или не Ллойд-Джордж — все равно! Он был так далек от подлинной Англии. Но он стоял за Англию и Ллойд-Джорджа, как его предки стояли за Англию и св. Георгия, — он даже не знал, в чем тут разница.

Он хотел, чтобы Клиффорд женился и имел наследника. Клиффорд чувствовал, что его отец безнадежный анахронизм. Но был ли он сам более передовым, чем отец? Разве лишь в ощущении нелепости

¹ Мидленд — средняя полоса Англии.

всего и всех и особенно в сознании нелепости собственной роли. И волей-неволей он принял и свое положение и Рагби, но с минимумом серьезности.

Веселое возбуждение первых дней войны было убито. Слишком много смертей и ужаса. Человеку нужна была поддержка и утешение. Человеку нужен был верный якорь в этом мире. Человеку нужна была жена.

Два брата и сестра Чаттерлей жили в Рагби совсем уединенно, несмотря на обширные знакомства. Чувство своей беззащитности и слабости — несмотря на имя и титул, а может быть, именно из-за них, — чувство своей отчужденности от остального мира соединяло семью крепкими узами. Они были отрезаны от промышленного Мидленда, где провели всю свою жизнь. И они были отрезаны от собственного класса из-за упорного, скрытного, угрюмого характера их отца, сэра Джоффри, над которым они так смеялись, но к мнению которого так прислушивались. Все трое говорили, что всегда будут жить вместе. Но теперь Херберт был убит, и сэр Джоффри хотел, чтобы Клиффорд женился. Он едва упомянул об этом, он вообще говорил очень мало. Но молчаливо и угрюмо настаивал на этом. И Клиффорду было трудно сопротивляться. Сестра Эмма категорически высказалась против этого, она была на десять лет старше Клиффорда и чувствовала, что его женитьба будет дезертирством и изменой всему тому, за что стояли они — молодые члены семьи.

Несмотря на это, Клиффорд женился на Констанции и провел с ней один месяц. Это было в ужасном семнадцатом году, и они были так близки друг другу, как только могут быть близки люди, оставшиеся вместе на тонущем корабле. Он был девственником, когда женился, и половая сторона брака имела для него мало значения. Они были близки независимо от этого... И Конни была в восторге от этой близости, которая была выше половых отношений и мужского удовлетворения. Да и вообще Клиффорд мало думал о своем удовлетворении, не так, как остальные мужчины. Нет, их близость была более глубокой, более личной. Половое общение было просто случайностью, одним из неизбежных органических процессов, вот и все. Конни все же хотела детей, хотя бы для того, чтобы укрепить себя против своей свояченицы Эммы. Но в начале 1918 года Клиффорда отправили домой израненным и разбитым на куски. Детей не могло быть. И сэр Джоффри умер от горя.

Глава вторая

Конни и Клиффорд приехали в Рагби осенью двадцатого года. Мисс Эмма Чаттерлей, все еще возмущенная женитьбой своего брата, уехала и поселилась в Лондоне.

Рагби, угрюмое место, не отличавшееся благородством, — это был большой низкий дом, начатый в половине XVIII столетия и постепенно изуродованный пристройками. Дом был окружен прекрасным старым дубовым парком, но, увы, из-за столетних дубов виднелись трубы каменноугольных копей, с тучами дыма и копоти. А в сырой и туманной дали тянулся рабочий поселок, начинавшийся чуть ли не у самых ворот парка. Он был безнадежно некрасив и растянулся на тягостно долгую милю. Ряды старых, облупленных, грязных домишек с черными крышами и слепой унылостью.

Конни привыкла к холмам Шотландии и долинам Сассекса. Это была ее Англия. Со стоицизмом молодости она приняла бездушное уродство углежелезного Мидленда и предпочла не задумываться над ним. Из грустных комнат Рагби она слышала скрип буравов в колодцах, гул машин и хриплый свисток локомотивов, возивших уголь. И когда ветер дул в сторону Рагби, что случалось часто, дом наполнялся запахом горящих извержений земли. Даже в безветренные дни воздух был насыщен запахом железа, серы и угля. И на нежные комнатные цветы садилась настойчивая копоть, как черная манна с гибельного неба.

Ну что ж, так оно было и будет, предназначенное судьбой, как и все остальное. Пожалуй, это было ужасно. Но к чему было протестовать? Все равно оно оставалось таким. Это тоже было частью жизни. Ночью на низком, темном фоне туч красное зарево вспыхивало и распухало, как большой ожог. Это были доменные печи. Сначала они зачаровали Конни, как странный ужас; она почувствовала, что живет подземной жизнью. Потом она привыкла к ним. По утрам шли дожди.

Клиффорд уверял, что Рагби нравится ему больше Лондона. Эта местность имела свою угрюмую силу, а ее обитатели — ненасытные желудки. Что еще было у этих людей? — раздумывала Конни. Конечно, ни ума, ни глаз. Обитатели Тавершала — так назывался рабочий поселок — были такими же бесформенными, оборванными и угрюмыми, как и вся эта местность. Только в их гортанном диалекте и в звуках шагов их высоких, подбитых гвоздями сапог — когда они толпами брели домой с работы — было нечто ужасающее и немного таинственное.

Никто не приветствовал молодого хозяина с возвращением домой. Не было ни депутатий, ни праздника, ни даже единого цветка. Между Рагби и Тавершалом не было никакой связи. Никто не здоровался с хозяевами, никто не снимал перед ними шапки. Углекопы только главели на них, а лавочники приподнимали свои кепки перед Конни, как перед знакомой, и неловко кланялись Клиффорду, — вот и все. Непроходимая пропасть и какое-то глухое раздражение с обеих сторон.

Вначале Конни страдала от глухого и постоянного недовольства, которое подымалось из рабочего поселка. Потом она привыкла к нему. Это не была неприязнь к хозяевам; они просто принадлежали к другому миру, чем углекопы. Непроходимая пропасть, невозможная,

пожалуй, где-нибудь на юге Англии; но в Мидленде и на фабричном севере — непроходимая пропасть, через которую не могло установиться никакой связи. Вы держитесь своей стороны, а я своей. Странное отрицание общего биения человеческого пульса! Все же, отвлеченно, поселок симпатизировал Конни и Клиффорду. Но на деле это было: оставьте меня в покое, — с обеих сторон. Ректор Тавершала был славным человеком лет шестидесяти, обезличенным этим молчаливым «оставьте меня в покое» со стороны рабочих. Жены углекопов были методистками. Углекопы не были ни чем. Но уже одной его священнической формы было достаточно для того, чтобы они не считали его таким же человеком, как всех остальных. Нет, он был мистер Ашби, как бы автомат молитв и проповедей.

Это упорное, инстинктивное: «Хоть вы и леди Чаттерлей — мы не хуже вас» — сначала чрезвычайно озадачивало Конни. Жены углекопов отвечали на ее робкие попытки к взаимному пониманию притворной любезностью, под которой скрывалась подозрительность. И Конни оставила их в покое, теперь она просто проходила мимо, не глядя на них, а они смотрели ей вслед во все глаза, точно она была ходячей восковой фигурой. Клиффорд был высокомерен и презрителен, когда ему приходилось иметь дело с углекопами. Он не мог позволить себе быть дружелюбным. Но он был высокомерен и презрителен со всеми, кто не принадлежал к его классу. Он стоял на своей стороне без всяких попыток к примирению. И рабочие относились к нему равнодушно — он был частью вещей, как копи, как Рагби. В сущности, Клиффорд стал чрезвычайно застенчив теперь, когда он стал калекой. Он не любил быть на людях. Несмотря на это, он был одет так же изысканно, как всегда, носил прекрасные галстуки, и верхняя часть его тела выглядела элегантно и внушительно. Он никогда не был одним из современных женственных мужчин, наоборот: со своими широкими плечами и румяным лицом он был даже старомоден. Но его тихий, неуверенный голос и дерзкие и в то же время испуганные глаза — уверенные и застенчивые — вскрывали его настоящий характер. Он держался иногда оскорбительно надменно, а иногда скромно и почти робко.

Конни и он были привязаны друг к другу отвлеченно, по-современному. В нем было убито слишком много, чтобы он мог когда-нибудь быть веселым и легким. Он был калекой, и вот почему Конни страстно привязалась к нему. Все же она не могла не замечать, как мало у него было связи с другими людьми. Углекопы были в некотором смысле его собственностью; он смотрел на них, скорее, как на вещи, чем как на людей; как на часть копеек, а не как на часть жизни; как на грубые феномены, а не как на человеческие существа, такие же, как и он. Он даже как-то боялся их, и ему было невыносимо, что они видят его калекой. Их странная, грубая жизнь была так же непонятна ему, как жизнь ежей.

Он был отвлеченно заинтересован ними приблизительно как человек, смотрящий в микроскоп или телескоп. Он совершенно не соприкасался с ними. В действительности он не соприкасался ни с кем, кроме, пожалуй, по традиции, с Рагби и, по-родственному, с Эммой. Конни чувствовала, что, по правде говоря, она тоже не имела настоящих точек соприкосновения с ним, возможно, что таких точек вообще не было; просто было отрицание важности контакта между людьми.

Но в то же время он совершенно зависел от нее, она была всегда необходима ему. Ведь, несмотря на свой рост и силу, он был совершенно беспомощен. Он мог кататься в кресле по комнатам и в моторном кресле по парку. Но, оставаясь один, он совершенно терялся. Он нуждался в Конни хотя бы для того, чтобы сознавать, что живет.

Все же он был честолюбив. Он начал писать рассказы, занимательные, очень личные, — рассказы о людях, которых он знал. Умные и едкие, но в то же время странно незначительные. Его наблюдения были острыми и пронизательными. Но в них не чувствовалось настоящего соприкосновения с действительностью, точно все совершалось в пустоте. И так как жизненное поле в наше время в общем похоже на ярко освещенную сцену, его рассказы были верны современности или, лучше сказать, современной психологии.

Клиффорд был болезненно чувствителен к своим рассказам. Он хотел, чтобы они были признаны всеми. Они появлялись в самых передовых журналах, и, как полагается, их и хвалили и ругали. Но для Клиффорда порицания были пыткой. Все его существо как бы сосредоточилось в его рассказах.

Конни помогала ему, как могла. Сначала она была полна энтузиазма. Он говорил с ней о каждой теме, — монотонно, настойчиво, постоянно, и она должна была откликаться ему со всей внутренней силой. Вся ее душа, и тело, и пол как бы переливались в его рассказы. Это поглощало и радовало ее. Они жили только этим.

Конни следила за домом. Но экономка служила у сэра Джоффри уже многие годы, а старшая горничная — высохшая, корректная старая дева — была в доме уже сорок лет. Вся прислуга была старой. Это было ужасно. Что можно было сделать с таким домом, как не предоставить его самому себе? Все эти бесконечные комнаты, которыми никто не пользовался, рутина Мидленда, механическая чистота и порядок! Клиффорд настоял на новой кухарке, которая готовила для него еще в Лондоне. Остальное хозяйство двигалось механически, само по себе, — все было в порядке, повсюду была чистота. Но Конни чувствовала отсутствие теплоты и уюта. Дом был таким же угрюмым, как пустынная улица. Что оставалось ей, как не оставить его в покое?.. Она так и сделала. Мисс Чаттерлей, с аристократическим тонким лицом, приезжала иногда и торжествовала, что ничего не менялось. Она никогда не могла простить Конни того, что она нарушила ее духовную связь с братом. Это она, Эмма, должна была бы помогать ему в его работе: рассказы Чаттерлеев нечто новое в этом мире, которое произво-

дили они — Чаттерлей. Отец Конни, как-то нанесший Рагби мимолетный визит, сказал своей дочери: «Что касается рассказов Клиффорда — они умны, но в них ничего нет. Они недолговечны». Конни посмотрела на дородного шотландца, который так весело прожил свою жизнь, и ее большие глаза, по-прежнему слегка удивленные, затуманились. В них ничего нет? Что он хотел этим сказать? Если критики их хвалили, и Клиффорд был почти знаменитостью, и они приносили доход... что подразумевал ее отец, говоря, что в рассказах Клиффорда ничего не было? Что должно было в них быть?

Конни смотрела на все с точки зрения современной молодежи: то, что было в данный момент, было всем. И моменты следовали один за другим, иногда без всякой связи между собой.

Во время второй зимы, которую они проводили в Рагби, отец Конни сказал ей:

— Я надеюсь, Конни, что ты не позволишь обстоятельствам заставить тебя превратиться в полудеву.

— Полудеву! — ответила Конни туманно. — Почему? Почему же нет?

— Конечно, если это тебе нравится!.. — поспешил добавить ее отец.

Клиффорду он сказал то же самое, когда они остались вдвоем:

— Боюсь, что Конни не идет быть полудевой.

— Полудевой! — повторил Клиффорд, стараясь понять эту фразу.

Он подумал с минуту, потом вспыхнул. Он был оскорблен и зол.

— В каком смысле это не идет ей? — спросил он холодно.

— Она худеет... становится угловатой. Это не в ее стиле. Она ведь не худенькая маленькая девочка, а веселая шотландка.

Клиффорд хотел поговорить с Конни об этом полудевстве, но он не мог заставить себя сделать это. Он был в одно и то же время и слишком близок к ней, и недостаточно близок. Интеллектуально он был всецело с ней, но физически они не существовали друг для друга, и оба не могли говорить об этой стороне их жизни. Они были близки, но совершенно не соприкасались друг с другом. Все же Конни догадалась, что ее отец сказал о чем-то Клиффорду и что у Клиффорда было что-то на уме. Она знала, что ему было бы совершенно безразлично, будь она *demi-vierge* или *demi-monde*, лишь бы он не знал об этом, лишь бы ему никто не указал на это. То, что глаза не видят и ум не сознает, не существует.

Конни и Клиффорд жили своей туманной жизнью в Рагби уже два года, поглощенные Клиффордом и его работой. Их интересы не шли дальше этого. Они говорили и спорили об его рассказах. Так шла их жизнь в пустоте. Потому что остальной мир не существовал для них. Был Рагби, была прислуга... но как отражение чего-то, сами не живые.

Конни ходила гулять в парк и в лес за парком и радовалась его уединению и таинственности; осенью шуршала листьями, а весной собирала подснежники.

Но все было как сон, вернее, как симуляция действительности. Дубовые листья были для нее как дубовые листья, отраженные в зеркале. Она сама была как кто-то, о ком она читала. Подснежники — как воспоминание о чем-то. Для нее не было ничего конкретного... не было контакта с жизнью, ни живого соприкосновения! Только жизнь с Клиффордом, бесконечное наматывание слов, рассказы, о которых сэр Мальком сказал, что в них ничего нет и что они недолговечны. Почему в них должно было что-то быть? И зачем они должны были бы жить? У Клиффорда было много друзей, вернее знакомых, и он приглашал их в Рагби. Он приглашал всевозможных людей, критиков и писателей, людей, которые помогали бы хвалить его книги. Им льстило быть приглашенными в Рагби, и они льстили. Конни прекрасно понимала это. Но почему же нет? Это тоже было одним из летучих отражений в зеркале. Что было в этом плохого? Она принимала этих гостей, в большинстве случаев мужчин. Изредка она принимала также и аристократических родственников Клиффорда. Будучи мягкой, румяной и здоровой женщиной, склонной к веснушкам, с большими голубыми глазами и вьющимися темными волосами, с мягким голосом и сильными широкими бедрами, она считалась немного старомодной и чересчур женственной. Она не была худенькой женщиной-мальчишкой, с плоской грудью и плоским задом. Она была слишком женственной, чтобы быть модной.

Мужчины, особенно немолодые, были очень внимательны к ней. Но, зная, каким мучением был бы для Клиффорда малейший намек на флирт, она никоим образом не поощряла их. Она была тиха и отвлеченна, она не имела никакого соприкосновения с ними и не намеревалась его иметь. Клиффорд был чрезвычайно горд самим собой.

Его родственники относились к ней очень хорошо. Она знала, что это указывало на то, что они не боялись ее, а ведь эти люди могли уважать только тех, кого они немного боялись. Но ведь и с ними она не имела никакого соприкосновения. Она предоставляла им быть милыми и презрительными, она позволяла им думать, что им не надо держать оружие наготове. Она не имела ничего общего с ними.

Время шло. Что бы ни происходило, для нее ничего не случилось, настолько она не соприкасалась с действительностью. Она и Клиффорд жили своими мыслями и книгами. Она принимала. В доме всегда гостил кто-нибудь. Время шло как заведенные часы.

Глава третья

Однако Конни чувствовала в себе растущее беспокойство. Вместо прежнего равнодушия и отчужденности от внешнего мира беспокойство постепенно овладевало ею, как безумие. Оно дергало ее руки и ноги, когда она не хотела ими двигать; оно выпрямляло ее спину, когда она не хотела сидеть прямо, но предпочитала удобно отдыхать. Оно

дрожало в ее теле, в ее чреве, пока она не чувствовала потребности как-нибудь избавиться от этого ощущения. Это было безумное беспокойство. Оно заставляло бешено биться ее сердце без всякой причины. И она сильно худела. Это было просто беспокойство. Она убежала в парк, оставляя Клиффорда одного, и лежала там часами. Убежать из дому!.. Она должна была бежать из дому, бежать от всех. Лес был ее единственным убежищем, ее святилищем.

Но на самом деле он не был ее убежищем и святилищем, потому что она не чувствовала его. Лес был только местом, где она могла скрыться от окружающих. Конни смутно сознавала, что с ней творится что-то неладное. Она понимала, что она не соприкасается с действительностью и что потеряла связь с настоящим и живым миром. Только Клиффорд и его книги, которые не жили... в которых ничего не было! Пустота в пустоте. Смутно, но она понимала это. Она словно билась головой о стену.

Ее отец сказал ей опять:

— Почему ты не заведешь себе любовника, Конни? Это было бы очень хорошо для тебя.

Зимой в Рагби приехал на несколько дней писатель Микаэлис. Это был молодой ирландец, уже сделавший большое состояние в Америке своими пьесами. Одно время его с энтузиазмом принимали в лондонском обществе, так как он писал остроумные пьесы из светской жизни. Но постепенно свет понял, что этот дублинский проходимец едко высмеивал его, и наступила реакция. Имя Микаэлиса стало синонимом всего, что считалось подлым и наглым. Открыли, что он был антиангличанином, и, с точки зрения класса, который сделал это открытие, это было хуже, чем самое гнусное преступление. Он умер для них, и труп его был выброшен в помойную яму.

Несмотря на это, у Микаэлиса была квартира на самой модной улице Лондона, и он выглядел воплощенным джентльменом, потому что хорошие портные никогда не отказывают заказчикам, если только эти заказчики хорошо платят.

Клиффорд пригласил Микаэлиса в неприятный момент для карьеры этого молодого человека. Все же Клиффорд не задумался над приглашением. К Микаэлису прислушивалось несколько миллионов людей, и, будучи парией, он, без сомнения, будет благодарен за приглашение в Рагби, особенно в тот момент, когда свет порвал с ним. А будучи благодарен, он поможет Клиффорду там, в Америке. Клиффорд был начинающим писателем и обладал замечательным инстинктом к саморекламе. И действительно, Микаэлис в конце концов написал о нем пьесу, в которой Клиффорд был выведен героем. Впоследствии он понял, что был зло высмеян в ней.

Конни немного удивлялась слепому, настойчивому, инстинктивному желанию Клиффорда стать известным — известным тому широкому миру, который был, по существу, неизвестен ему самому и которого он смутно боялся; он хотел стать известным как первоклассный

современный писатель. Конни знала из примера старого сердечного сэра Малькома, что художники рекламируют себя и стараются продавать свои вещи. Но ее отец шел по уже проторенной дороге, по следам всех других художников, тогда как Клиффорд открывал новые пути саморекламы, самые разнообразные. Он принимал в Рагби всевозможных людей, сам, в сущности, не опускаясь до них. Но, решив создать себе славу и при этом как можно скорее, он пользовался всеми средствами для достижения цели.

Микаэлис приехал в собственном изящном автомобиле, с шофером и лакеем. Он был воплощением элегантности! Но при виде его что-то сжалось в дворянской душе Клиффорда. Микаэлис был не совсем... не совсем тем, чем хотел бы казаться. Для Клиффорда этого было достаточно. Все же он был чрезвычайно любезен с этим человеком, чрезвычайно любезен к его известности. Богиня-Сука Успеха, как ее называли, оберегала полуприниженного и полунастороженного Микаэлиса и смущала Клиффорда. Сам он тоже был готов распластаться перед Богиней Успеха, лишь бы она пожелала его.

Несмотря на лучших портных, сапожников и парикмахеров, самых шикарных в Лондоне, было совершенно ясно, что Микаэлис не англичанин. Нет, нет, было ясно, что он не англичанин: это было не английское бледное лицо, не английские манеры и не английская грусть. В нем была грусть и озлобленность. Это было очевидно каждому настоящему английскому джентльмену, который никогда не позволил бы себе показать этого. Беднягу Микаэлиса так часто угощали пинками, что у него был слегка приниженный вид даже теперь. Он пробил свою дорогу чисто инстинктивно, нахально вылез на сцену и стоял теперь там впереди всех со своими пьесами. Он захватил публику. И решил, что дни пинков прошли. Увы, они не прошли... они никогда не пройдут. Потому что он сам в некотором роде напрашивался на эти пинки. Он томился желанием быть там, где ему не полагалось — в высшем английском обществе. Как они радовались всевозможного рода пинкам, которыми они наделяли его! И как он их ненавидел!

Несмотря на все это, этот дублинский проходимец путешествовал в собственном автомобиле, с шофером и лакеем.

Но что-то понравилось в нем Конни. Он ничего не строил из себя, у него не было иллюзий о самом себе. Он говорил умно, спокойно и практически обо всем, что хотел знать Клиффорд. Он был сдержан и насторожен. Он знал, что его пригласили в Рагби, чтобы использовать его, и, как старый, опытный и почти равнодушный делец, он позволял задавать себе вопросы и отвечал на них кратко и точно.

— Деньги, — сказал он, — деньги — это род инстинкта. Человеческой натуре свойственно делать деньги. Конечно, это не работа, этого не надо делать и это не фокус, это просто привычка, развивающаяся в вашем характере. Раз начав, вы делаете деньги и продолжаете делать их. До известного предела, вероятно.

— Но надо начать, — сказал Клиффорд.

— Конечно! Вы должны войти в это. Если вы стоите вне этого, вы ничего не можете поделать. Вы должны пробиться в деньги. Дальнейшее разовьется само по себе.

— Но могли бы вы делать деньги не пьесами, а чем-нибудь другим? — спросил Клиффорд.

— По всей вероятности, нет. Плохой я или хороший писатель, но я писатель и драматург и должен быть им. Это, несомненно, так.

— И вы думаете, что вы должны писать ходкие пьесы? — спросила Конни.

— Вот именно! — сказал он, поворачиваясь к ней и внезапно загораясь. — Ведь все это вздор! Популярность — вздор! В сущности, публика тоже вздор. В моих пьесах нет ничего такого, чтобы сделать их популярными. Дело не в этом. Они просто как погода — такая, какая есть... в данное время.

Он медленно повернул к ней свои большие глаза, утонувшие в таком бездонном разочаровании, что Конни задрожала. Он казался таким старым, бесконечно старым, вылепленным из разочарований многих поколений, похожих на геологические наслоения. В то же время он казался растерянным, как ребенок. В некотором смысле — пария, но с отчаянной смелостью своего крысиного существования.

— Во всяком случае, то, что вы сделали в ваши годы, — замечательно, — сказал задумчиво Клиффорд.

— Мне тридцать... да, мне тридцать, — внезапно сказал Микаэлис со странным смехом, неслышным, торжествующим и горьким.

— И вы одиноки? — спросила Конни.

— В каком смысле? Живу ли я один? У меня есть слуга. Он говорит, что он грек, и он очень несообразительный. Но я держу его. И я женолюб. О, я должен жениться.

— Это звучит как если бы вы должны были вырезать себе гланды, — засмеялась Конни. — Это будет большим усилием?

Он посмотрел на нее, любуясь ею.

— Да, леди Чаттерлей, это так. Простите, но я нахожу, что не мог бы жениться на англичанке, даже на ирландке.

— Попробуйте американку, — сказал Клиффорд.

— Американку! — Он засмеялся. — Нет, я попросил своего грека найти мне турчанку или какую-нибудь другую восточную женщину.

Конни удивлялась этому странному и грустному образчику необыкновенного успеха. Говорили, что он получает пятьдесят тысяч фунтов годового дохода в одной только Америке. Моментами он был красив, когда смотрел в сторону, вниз, и свет падал прямо на него, он был красив молчаливой, выносливой красотой негритянской маски, вырезанной из слоновой кости, — с большими глазами, с резко очерченными и странно изогнутыми бровями, с сжатым неподвижным ртом. Иногда в нем была неподвижность и бесконечность, к которой стремится Будда и которую порой достигают негры, вовсе не стремясь к ней. В нем было нечто древнее, древнее и покорное.

Конни почувствовала к нему внезапную и странную симпатию, смешанную с жалостью и каким-то отвращением, но похожую на любовь. Проходимец! Они называли его проходимцем! Насколько самодовольнее и ничтожнее выглядел Клиффорд! И насколько глупее! Микаэлис сразу понял, что произвел на нее впечатление. Он повернул к ней свои большие, зеленоватые глаза, — взгляд его был чисто отвлеченный; он оценивал ее самое и впечатление, которое произвел. Ничто не спасало его от чувства отчужденности с англичанами, даже любовь. Но иногда он нравился женщинам... англичанкам тоже.

Он знал, как относится к нему Клиффорд. Они были как два враждебных пса, которым хотелось бы огрызнуться друг на друга и которые вместо этого любезно улыбались. Но своих взаимоотношений с женщиной он еще не мог определить.

Утреннее кофе подавали в спальню; Клиффорд никогда не показывался до завтрака, а столовая была немного мрачной. После кофе Микаэлис, беспокойный и мятущийся, не знал, что делать с собой. Был прекрасный ноябрьский день, прекрасный даже для Рагби. Он посмотрел на грустный парк... Господи, что за место!

Он послал лакея спросить леди Чаттерлей, может ли он быть ей чем-нибудь полезен: он собирался поехать в Шеффилд. В ответ пришло приглашение подняться наверх в гостиную леди Чаттерлей.

Комнаты Конни были в третьем этаже, верхнем этаже дома. Комнаты Клиффорда были, конечно, внизу. Микаэлис был очень польщен, что леди Чаттерлей пригласила его в свои личные апартаменты. Он слепо шел за лакеем. Он никогда не замечал вещей, никогда не был в контакте с окружающим. В ее комнате он смутно взглянул на прекрасные немецкие репродукции Сезанна и Ренуара.

— Здесь очень мило, — сказал он со своей странной улыбкой, осклаливая зубы, как будто ему было больно улыбаться. — Вы умно сделали, что поселились наверху.

— Да, я тоже так думаю, — ответила она.

Ее комнаты были единственными веселыми комнатами в Рагби, единственными в доме, в которых личность ее была как-то отражена. Клиффорд никогда не видел их, и она приглашала сюда очень немногих.

Она и Микаэлис сидели у камина и разговаривали. Она расспрашивала его о нем самом, об его отце и матери, об его братьях... Другие люди были всегда немного таинственными для нее, и, когда ее симпатия пробуждалась, она не думала о классовой разнице. Микаэлис говорил о себе откровенно, совсем откровенно, без аффектации, просто раскрывая свою горькую, равнодушную, бездомную душу, и под конец выказал чуточку мстительной гордости по поводу своего успеха.

— Но почему вы такая одинокая птица? — спросила его Конни; он посмотрел на нее своим открытым, испытующим взглядом.

— Некоторые птицы одиноки, — ответил он. И потом, с оттенком дружеской иронии: — Но, послушайте, а вы сами! Разве вы тоже не одинокая птица в некотором роде?..

Конни, немного озадаченная, подумала несколько минут и потом сказала:

— Только в некотором роде! Не совсем, не так, как вы!

— А разве я совершенно одинокая птица? — спросил он со своим странным подобием улыбки, как будто у него болели зубы; улыбка эта была так натянута, а его глаза неизменно оставались грустными, или стоическими, или разочарованными, или испуганными.

— Как? — спросила она, затаив дыхание и смотря на него. — Вы?..

Она чувствовала страшную притягивающую силу, исходящую от него, которая заставляла ее почти терять равновесие.

— Да, вы правы! — сказал он отворачиваясь и смотря в сторону, вниз, со странной неподвижностью древних, не свойственной нашему веку. И это было тем, что заставило Конни потерять силу, отделяющую ее от него. Он посмотрел на нее взглядом, который все видел и все замечал. И в то же время, как дитя, кричащее в ночи, что-то кричало из его груди к ней, так, что это задело самое ее чрево.

— Так мило с вашей стороны думать обо мне, — сказал он отрывисто.

— А почему бы мне не думать о вас? — воскликнула она почти задыхаясь.

Он издал сухой, отрывистый смешок.

— О, в этом смысле!.. Можно мне подержать вашу руку? — вдруг спросил он, остановив на ней свои глаза с почти гипнотической силой и так призывая ее к себе, что она почувствовала это в своем сокровеннейшем.

Она смотрела на него опьяненная и преображенная, и он подошел к ней, опустился перед ней на колени, обнял ее ноги, зарыл лицо в ее коленях и застыл неподвижно. Она была в тумане и смотрела вниз на его затылок в каком-то изумлении, в каком-то нежном полусне, чувствуя его лицо, прижимающееся к ее бедрам. И в горящем тумане она не могла не положить свою руку с нежностью и состраданием на беззащитные волосы на его затылке... и он задрожал. И глубоко вздохнул.

Он смотрел на нее с яростным призывом в горящих глазах. Она была совершенно не в силах сопротивляться ему. Из ее груди лилась ответная страстная жажда; она должна была дать ему все, все, что ему было угодно.

Он был странным и очень нежным любовником, очень нежным с женщиной, неудержимо трепещущий и в то же время отвлеченный, прислушиваясь к каждому звуку извне. Она не чувствовала ничего, кроме того, что отдала ему себя. Наконец он перестал вздрагивать и лежал совсем тихо, совсем тихо. И тогда сострадательными, нежными пальцами она стала гладить голову, которая лежала у нее на груди.

Когда он встал, он поцеловал ее руки, ее ноги в замшевых туфлях, молча прошел на другой конец комнаты и стал спиной к ней. Молча-

ние длилось несколько минут. Потом он повернулся и подошел к ней, — она сидела на старом месте у камина.

— И теперь, вы, наверное, будете меня ненавидеть! — сказал он спокойно, как будто это было неизбежно.

Она быстро взглянуло на него.

— Почему же?

— Они почти всегда так делают, — сказал он, потом спохватился: — Я хочу сказать, что обыкновенно женщины...

— Это было бы последним делом, если бы я ненавидела вас в эту минуту, — ответила она с упреком.

— Да, да, я знаю! Так это и должно быть! Вы страшно добры ко мне! — воскликнул он, страдая.

Она не понимала, почему он страдает.

— Сядьте же! — сказала она.

Он посмотрел на дверь.

— Сэр Клиффорд! — сказал он. — Он не... он не будет?..

Она подумала.

— Возможно. — Потом посмотрела на него: — Я не хочу, чтобы Клиффорд знал... или подозревал. Ему было бы так больно. Но я не думаю, что это было нехорошо. А вы?

— Нехорошо? О господи, нет! Только вы бесконечно добры ко мне... Я не могу вынести этого.

Он отвернулся, и она увидела, что еще минута и он зарыдает.

— Но ведь мы не должны говорить Клиффорду, правда? — сказала она умоляюще. — Ему было бы так больно. А если он ничего не узнает, ничего не будет подозревать, это никому не причинит боли.

— Ах, — сказал он горячо. — Он никогда ничего не узнает от меня. Чтобы я признался в чем-нибудь? Ха-ха! — Он засмеялся цинично и неслышно при этой мысли. Она удивленно следила за ним. Он сказал ей: — Можно мне поцеловать вашу руку и уйти? Я поеду в Шеффилд, я думаю, и позавтракаю там, если вы позволите, и приеду обратно к чаю. Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Могу ли быть уверен, что вы не ненавидите меня и что не будете меня ненавидеть? — кончил он с отчаянием.

— Нет, я не ненавижу вас, — сказала она, — и думаю, что вы милый.

— Ах, — горячо ответил он, — это лучше, чем если бы вы сказали, что любите меня. Это гораздо больше значит... До свиданья. У меня будет время подумать обо всем.

Он смиренно поцеловал ее руку и вышел.

— Я просто не выношу этого молодого человека, — сказал Клиффорд за завтраком.

— Почему? — спросила Конни.

— Он такой шалопай под своим внешним лоском... Ему все время хочется сделать нам какую-нибудь гадость.

— Мне кажется, что люди были так злы к нему, — сказала Конни.

— И вы удивляетесь этому? Вы думаете, что он тратит свои досуги на добрые дела?

— Я думаю, что в нем есть какое-то великодушие.

— К кому?

— Я, право, не знаю.

— Конечно, вы не знаете. Боюсь, что вы принимаете беспринципность за великодушие.

Конни молчала. Было ли это так? Возможно. Но эта беспринципность Микаэлиса имела некоторое обаяние для нее. Он прошел до конца тот долгий путь, на котором Клиффорд пробовал только делать робкие шаги. Пути и средства?.. Разве те, которыми пользовался Микаэлис, были хуже тех, которыми пользовался Клиффорд? Разве то, что бедный проходец проталкивался и протискивался через задние двери, было хуже того, как Клиффорд рекламировал себя? Тысячи задыхающихся псов с высунутыми языками преследовали суку — Богиню Успеха. Тот, кто настигал ее первый, был самым ловким из псов, судя по его успеху! И Микаэлис имел право держать хвост трубой.

Странная вещь — он этого не делал.

Он вернулся к чаю с охапкой фиалок и лилий и с тем же страдающим выражением лица. Конни думала иногда, что это была как бы маска для обезоружения врагов; был ли он на самом деле таким грустным псом? Страдающее выражение не сходило с его лица весь вечер, но Клиффорд угадывал под ним скрытую дерзость. Конни не чувствовала ее, может быть, потому, что эта дерзость не была направлена против женщин — только против мужчин, их убеждений и самонадеянности. И эта непоколебимая внутренняя дерзость была именно тем, что так восстанавливало мужчин против Микаэлиса. Самое присутствие его было оскорблением для человека из хорошего общества, как бы он ни скрывал этого.

Конни была влюблена в него, но сумела не обнаружить этого, сидя с вышиванием и предоставляя мужчинам разговаривать. Что касается Микаэлиса, он был безупречен. Тот же грустный, внимательный молодой человек, что и в предыдущий вечер, отдаленный от своих хозяев миллионами верст, но лаконически подстраивающийся под них, насколько это было нужно, и ни на минуту не приближающийся к ним. Конни почувствовала, что он забыл про то, что было утром. Он не забыл. Но он знал свое место... Да и вообще он никогда не принимал любовь слишком близко к сердцу. Он знал, что это не превратит его из бездомной собаки в сытую собаку из хорошего общества. В глубине души он был одиночкой и антиобщественным элементом и сознавал это, несмотря на свою модную внешность. Его одиночество было необходимо ему так же, как внешний комфорт и знакомства с людьми из высшего общества.

Но случайная любовь, как утешение и поддержка, была тоже хорошей вещью, и он не был неблагодарным. Напротив, он был пламенно и остро благодарен за кусочек искренней ласки, благодарен до слез. Под бледным, неподвижным, разочарованным лицом детская душа

его рыдала от благодарности к женщине и горела желанием прийти к ней опять.

Он улучил минуту, чтобы сказать ей:

— Можно прийти к вам?

— Я приду сама.

— Хорошо.

Он ждал ее очень долго... но она пришла.

Он был дрожащим, взволнованным любовником, его кризис скоро наступил и быстро кончился. Было что-то беззащитное и детское в его наготе. Его защитой было его остроумие и хитрость, его инстинкт хитрости, когда же это спало в нем, он казался вдвойне нагим, как ребенок с несформировавшимся телом.

Он возбудил в женщине какую-то дикую жалость, любовь и неутолимое физическое желание. Он и не утолил его; он вошел в нее и кончил быстро, потом замер у нее на груди в то время, как она лежала оглушенная, разочарованная и растерянная.

Но она скоро научилась удерживать его, — держать его там внутри себя, после того как его кризис кончился. И он оставался в ней великодушно и странно потентный: он оставался твердым в ней, отдавшись ей, в то время как она была активной... страстно активной, приближаясь к своему кризису. И когда он почувствовал ее восторг полного удовлетворения от своей твердой пассивности, радостная гордость наполнила его.

— Ах, как хорошо, — шепнула она прерывисто и затихла, прижимаясь к нему. И он лежал там в своем одиночестве, но необычайно гордый.

На этот раз он пробыл в Рагби только три дня и оставался по отношению к Клиффорду неизменно таким же, каким был в первый вечер. И к Конни тоже. Ничто не могло сломить его внешнюю оболочку.

Он писал Конни грустные, порой остроумные письма, они были проникнуты странной, бесполой привязанностью. Он испытывал к ней какую-то безнадежную привязанность, но внутренняя отдаленность оставалась. Он был безнадежным до самой глубины души и хотел быть таким. Он ненавидел надежду. Конни никогда не могла его понять, но любила его по-своему. И всегда чувствовала, что его безнадежность отражается и в ней. Она не могла любить всецело, когда это было безнадежно. А он — не мог любить никогда.

Так продолжалось довольно долго. Они переписывались и время от времени встречались в Лондоне. Она все еще желала той физической, половой радости, которую она получала от него благодаря своей собственной активности после его маленького оргазма. А он по-прежнему хотел доставлять ей эту радость. Этого было достаточно, чтобы их связь продолжалась. И еще достаточно, чтобы давать ей некоторую самоуверенность — слепую и немного дерзкую. Это была бессознательная вера в свои собственные силы и она сопровождалась прекрасным настроением. Она была ужасно веселой в Рагби. И употребляла всю

свою веселость и удовлетворение на то, чтобы растормошить Клиффорда, так что в этот период он написал свои лучшие вещи и был почти счастлив. В сущности, он пожинал плоды того чувственного удовлетворения, которое она получала от Микаэлиса. Но, конечно, он никогда не узнал этого, а если б узнал, не поблагодарил бы ее!

Все же когда дни ее радостной веселости и возбуждения прошли, прошли совсем и она стала вновь раздраженной и грустной, как Клиффорд мечтал об их возврате! И если б он знал, может быть, он сам пожелал бы, чтобы Конни и Микаэлис были опять вместе.

Глава четвертая

У Конни всегда было предчувствие безнадежности ее связи с Миком, как его называли. Но в то же время остальные мужчины совсем не интересовали ее. Она была привязана к Клиффорду. Он нуждался в ней, и она отдавала ему большую часть своей жизни. Но и она хотела многого от жизни мужчины, и этого Клиффорд не давал ей, не мог. Время от времени появлялся Микаэлис. Но как она и предчувствовала, это должно было кончиться. Мик ничего не мог продолжать. Потребность быть ничем не связанным, рвать близкие отношения и быть снова и снова одиноким псом была частью его существования. Это было его главной необходимостью, хотя он и говорил: «Она меня бросила».

Принято считать, что мир полон возможностей, но на самом деле они сводятся к весьма немногим для большинства отдельных личностей. В морях много хорошей рыбы... может быть... но масса ее состоит из селедок и трески, и если вы сами не треска и не селедка, вы встретите очень немного хорошей рыбы. Клиффорд делал гигантские шаги к славе и даже к деньгам. К нему приезжало много народу. В Рагби постоянно гостил кто-нибудь.

Среди этого разношерстного люда было несколько постоянных посетителей, товарищей Клиффорда по Кембриджу. Был тут Томми Дюкс, который остался служить в армии после войны и был теперь полковником.

— Армия дает мне время думать и спасает меня от жизненных битв, — говорил он.

Был тут Чарли Мэй, ирландец, который писал научные очерки о звездах. Был еще Хаммонд, тоже писатель. Все были приблизительно одного возраста с Клиффордом, — молодые мыслители сегодняшнего дня. Все они верили только в интеллект. Все остальное, что бы вы ни делали, в сущности, не имело никакого значения. Чем вы зарабатываете, любите ли вы вашу жену, имеете ли любовные связи, — все это было вашим частным делом и не должно было интересовать никого другого.

— Вся суть половой проблемы, — сказал Хаммонд, высокий и худой человек, имевший жену и двоих детей, но более близкий к своей пишущей машинке, чем к ним, — в том, что в ней нет никакой сути. Строго говоря, проблемы нет. Мы не желаем следовать за человеком, который идет в уборную, так почему же мы должны идти за ним в кровать с женщиной? И в этом вся проблема. Если бы мы придавали всему одинаковое значение — не было бы никакой проблемы. Все это совершенно нелепо и преувеличенно: просто извращенное любопытство.

— Конечно, Хаммонд, конечно. Но если кто-нибудь станет ухаживать за Джулией — вы нахмуритесь; а если он будет продолжать — вы скоро будете близки к точке кипения. — Джулия была женой Хаммонда.

— Совершенно верно! Так же, как если бы кто-нибудь начал мочиться в углу моей гостиной. Всеу есть место.

— Вы хотите сказать, что, если бы он начал ухаживать за Джулией где-нибудь в скрытом алькове, вы ничего не имели бы против?

Чарли Мэй был слегка ироничен, так как он ухаживал за женой Хаммонда, и Хаммонд очень резко оборвал это:

— Конечно, я был бы против. Пол — это частное дело между мной и Джулией, и конечно, я был бы против вмешательства кого бы то ни было.

— По правде сказать, — вмешался стройный, веснушчатый Томми Дюкс, который был похож на ирландца гораздо больше, чем бледный и толстый Чарли Мэй, — по правде сказать, Хаммонд, в вас заложен сильный инстинкт собственности и потребность самоутверждения. Он чудовищно переразвит. Вся наша индивидуальность пошла по этому пути. И конечно, мужчины вроде вас думают, что скорее достигнут успеха при поддержке женщины. Поэтому они так ревнивы. Вот чем является для вас пол... живучим маленьким динамо между вами и Джулией, которое приведет к успеху. А если бы вы начали быть неуспешным, вы бы стали флиртовать, как Чарли Мэй. На женатых людях, как вы и Джулия, приклеены ярлычки. Ярлычок Джулии: миссис Хаммонд... как на сундуке, который принадлежит кому-то. А на вас: Арнольд Хаммонд, на попечении миссис Хаммонд. Да, вы, конечно, правы! Жизнь интеллекта нуждается в комфорте и приличном питании. Вы совершенно правы. Она нуждается даже в потемстве. Но все это основано на желании успеха. Это точка, вокруг которой все вертится.

Хаммонд раздраженно смотрел на говорившего. Он гордился тем, что независимо мыслит и не был рабом своего века. Тем не менее он желал успеха.

— Конечно, жить без денег нельзя, — сказал Мэй. — Вы должны иметь некоторое количество денег, чтоб жить... даже для того, чтобы независимо мыслить, иначе ваш желудок остановит вас. Но мне кажется, что вы могли бы не наклеивать ярлычков на половые отношения. Ведь мы свободны говорить с кем угодно; так почему же мы не имеем права любить всякую женщину, которую нам хочется любить?

— Так говорит сладострастный ирландец, — сказал Клиффорд.

СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ПЕРВЫЕ СУПРУЖЕСКИЕ ГОДЫ МОРЕЛОВ

Низинный вырос на месте Преисподней. Так называлась улочка, состоящая из крытых соломой, кособоких домишек на берегу ручья, при Гринхиллской дороге. Жили тут углекопы, что работали неподалеку в небольших шурфах с подъемниками. Ручей прятался среди черной ольхи, почти вовсе не пострадавшей от близости шахт, откуда ослики, устало бредущие вокруг ворота, вытаскивали уголь на поверхность. И повсюду окрест рассыпаны были эти шурфы, иные выработанные еще во времена Карла II, и немало углекопов и осликов копошилось в земле, точно муравьи, оставляя среди полей и лугов несуразные бугры и небольшие черные проплешины. И домишки этих углекопов, сгрудившиеся то там, то тут по два, по три, а то и вытянувшиеся в улочку, вместе со стоящими на отшибе фермами и жилищами чулочников, образовали поселок Бествуд.

Потом, лет шестьдесят назад, все вдруг переменялось. Мелкие шурфы исчезли под натиском шахт, принадлежащих финансовым тузам. В Ноттингемшире и Дербишире обнаружились большие залежи угля и железной руды. Родилось акционерное общество «Карстон, Уэйт и К^о». При чрезвычайном волнении собравшихся лорд Палмерстон официально открыл первую шахту компании в Спиини-парке.

Примерно в ту же пору пресловутую Преисподнюю, о которой с годами пошла дурная слава, сожгли дотла и таким образом избавились от всяческой грязи.

Карстон, Уэйт и К^о увидели, что дело оказалось прибыльное, и в долинах ручьев вокруг Селби и Наттола стали закладывать новые копи, так что скоро работа шла уже в шести шахтах. От Наттола по высокой насыпи среди леса протянулась железная дорога, мимо развалин небольшого картезианского монастыря, мимо родника Робин Гуда, к Спиини-парку, потом к Минтону, — к большой шахте среди пшеничных полей, от Минтона через обработанные поля в долине к Банкер-Хилл, а там разветвлялась и уходила на север, к Беггерли и

Селби, откуда уже видны Крич и холмы Дербишира; шесть шахт, точно черные шляпки гвоздей, вбитых то там, то здесь, и соединила петля тонкой цепочки — железной дороги.

Чтоб было где разместиться множеству углекопов, компания построила Квадраты, четырехугольники домов среди холмов Бествуда, а потом в долине ручья, на месте Преисподней, возвела Низинный.

Низинный состоял из шести кварталов шахтерских домиков — два ряда, по три квартала в каждом, точно домино, на котором шесть очков, и в каждом квартале двенадцать домиков. Оба ряда расположились у подножья довольно крутого склона, и оттуда, по крайней мере из окон мезонинов, видно было, как противоположная сторона долины полого поднимается к Селби.

Домики сами по себе были солидные и очень славные. Идешь — и всюду палисадники, и в нижней, теневой части поселка, в них примулы, аврикулы и камнеломка, а в верхней, солнечной, — гвоздика турецкая и обыкновенная; у каждого домика ясные окошки, и крылечко, и невысокая живая изгородь из бирючины, и окошки мезонинов. Но так оно снаружи — к улице у всех шахтерских жен обращены нежилые гостиные. А жилая комната, она же кухня, в глубине дома, окнами на зады поселка, на жалкий огород и на выгребную яму за ним. А между рядами домов, между протянувшимися из конца в конец выгребными ямами — узкая улочка, где играют дети, судачат женщины, курят мужчины. Так что хоть и был Низинный так хорошо построен и так славно выглядел, истинные условия жизни были там совсем неприглядные, ведь жизнь-то шла в кухнях, а кухни выходили на эту чумазую улочку выгребных ям.

Миссис Морел переезжала из Бествуда в Низинный безо всякого удовольствия — он простоял к тому времени уже двенадцать лет, и лучшие его дни миновали. Но выбора у нее не было. Хорошо хоть дом ей достался самый последний в ряду, в верхней части поселка, а значит, соседи только с одной стороны, а с другой — лишний клочок земли под огород. И поселившись в крайнем доме, она слыла среди здешних женщин чуть ли не аристократкой — ведь за дома, стоящие среди других домов, арендная плата была пять шиллингов в неделю, а за ее дом — пять с половиной. Но это превосходство не очень-то ее утешало.

Миссис Морел было тридцать один год, и замуж она вышла восемь лет назад. Небольшого росточка, хрупкая, но с решительной осанкой, она от первого знакомства с жительницами Низинного как-то съежилась. Переехала она в июле, а в сентябре должна была родить своего третьего.

Муж ее был углекоп. Они не прожили в своем новом доме еще и месяца, как наступил праздник, открылась ярмарка. Она знала, Морел конечно же не упустит случая повеселиться. В понедельник, в день ярмарки, он ушел спозаранку. Дети были страшно возбуждены. Семилетний Уильям умчался сразу же после завтрака, ему не терпе-

лось порыскать среди балаганов. Энни, которой было всего пять, он с собой не взял, и она все утро хныкала, просилась туда же. Миссис Морел хлопотала по хозяйству. С соседями она еще толком не познакомилась и не знала, кому доверить девчужку. Пришлось пообещать ей, что они отправятся после обеда.

Уильям прибежал в половине первого. Этот живой светловолосый вescuшчатый мальчонка слегка смахивал на датчанина или норвежца.

— Мам, пообедать можно? — воскликнул он, прямо в шапку вбегая в дом. — Она начнется в полвторого, мне один дяденька сказал.

— Пообедаешь сразу, как будет готово, — ответила мать.

— А еще не готово? — воскликнул он, сердито уставясь на нее своими глазами. — Тогда побегу без обеда.

— И думать не смей. Обед будет готов через пять минут. Еще только половина первого.

— Там все начнется, — чуть не плача крикнул мальчуган.

— Ничего страшного, даже если и начнется, — сказала мать. — Теперь только половина первого, у тебя еще целый час.

Сынишка стал торопливо накрывать на стол, и все трое тотчас уселись. Они ели пудинг с джемом, и вдруг Уильям вскочил со стула и замер. В отдалении послышалось побрякивание запущенной карусели, затрубил рожок. С искаженным лицом мальчик посмотрел на мать.

— Вот видишь! — сказал он и кинулся к вешалке за шапкой.

— Пудинг прихвати... еще только пять минут второго, выходит, ошибся ты... два пенни свои забыл, — одним духом прокричала мать.

Вконец разогорченный, мальчик вернулся, схватил монетку и, ни слова не сказав, выбежал вон.

— Хочу на ярмарку, на ярмарку, — захныкала Энни.

— Да уж пойдешь, маленькая плакса, ишь как вся сморщилась, — сказала мать.

И попозже устало побрела со своей девочкой вдоль живой изгороди вверх по холму. Сено с полей уже убрали, и на стерню выпустили скот. Было тепло, мирно.

Миссис Морел не нравились такие праздники. Здесь крутились две упряжки деревянных коней, одна с помощью пара, другую водил по кругу пони; вертели ручки трех шарманок, слышался треск одиночных пистолетных выстрелов, оглушала трещотка торговца кокосовыми орехами, громко скликали охотников поиграть в «тетку Салли», владелица кинетоскопа хриплым голосом зазывала поглядеть диковинные картинки. Мать увидела своего сына — он стоял подле балагана со львом Уоллесом и упоенно глазел на изображения этого знаменитого льва, который убил негра и оставил на всю жизнь калекими двух белых. Она не стала мешать сыну и пошла купить ириску для Энни. Но скоро Уильям уже стоял перед ней, отчаянно взбудораженный.

— Ты ж не сказала, что придешь... тут столько всего, правда?.. этот лев, он убил трех человек... я свои два пенса потратил... вот, погляди.

Он вытащил из кармана две рюмочки для яиц, на обеих нарисовано по мускусной розе.

— Я их выиграл вон в том киоске, загнал шарики в ямки. Я их за два кона получил... полпенни за кон... вот, погляди, на них мускусные рюмочки. Мне их хотелось.

Это ему для нее хотелось, поняла мать.

— Гм! — сказала она довольная. — Они и вправду милые.

— Возьми, а то вдруг я разобью.

Сейчас, когда пришла мать, в нем все так и бурлило, и он потянул ее по ярмарке, показывая все подряд. Потом у кинетоскопа она объяснила ему, что значит каждая картинка, получился прямо рассказ, и мальчик слушал как завороженный. Он не отходил от нее ни на шаг. Так и льнул к ней, переполненный мальчишеской гордостью за мать. Ведь в своей черной шляпке и накидке она казалась настоящей леди, не то что другие. Встречая знакомых женщин, миссис Морел им улыбалась. А когда устала, спросила сынишку:

— Ну как, пойдем домой или еще побудешь?

— Уже уходишь! — воскликнул мальчик, и такой упрек выразился у него на лице.

— Уже? Да ведь пятый час, как я понимаю.

— Ну почему, почему ты уходишь? — жалобно протянул Уильям.

— Если тебе не хочется уходить, останься, — сказала мать.

И вместе со своей девчушкой не спеша пошла прочь, а сын смотрел ей вслед, огорченный до глубины души и все-таки не в силах расстаться с ярмаркой. Проходя мимо трактира «Луна и звезды», миссис Морел услышала громкие мужские голоса, до нее донесся запах пива, и она прибавила шаг, подумала, что и ее муж, должно быть, там.

Около половины седьмого вернулся сын, теперь уже усталый, бледный и какой-то приунывший. Сам того не понимая, он был удручен, оттого что отпустил мать одну. Стоило ей уйти, и ярмарка перестала его радовать.

— А папа приходил? — спросил он.

— Нет, — отвечала мать.

— Он пиво разносит в «Луне и звездах». Я видел через дырки в железных ставнях, он рукава закатал.

— Ха! — сердито воскликнула мать. — Он без денег. И будет рад, если сможет даром выпить, пусть даже ничего больше не получит.

Скоро стало смеркаться, миссис Морел не могла больше шить, и она поднялась и подошла к порогу. Все вокруг было пронизано праздничным неугомонным возбуждением, которое наконец передалось и ей. Она вышла в садик. Возвращались домой с ярмарки женщины, ребятишки прижимали к груди кто белого барашка с зелеными ногами, кто деревянного коня. Изредка, нагрузившись под завязку, нетвердыми шагами проходил мужчина. А то мирно шествовал во главе семейства примерный супруг. Но чаще женщины шли без мужей,

только с детьми. В сгущающихся сумерках сплетничали на углах домоседки, сложив руки под белыми фартуками.

Миссис Морел стояла одна, но ей было не привыкать. Сын и дочка спят наверху, значит, похоже, дом здесь, у нее за спиной, в целостности-сохранности. Но ожидающееся прибавление семейства угнетало. Жизнь казалась безотрадной — ничего хорошего уже не ждет ее в этом мире, по крайней мере пока не вырос Уильям. Да, ничего ей не остается, кроме безотрадного долготерпенья — пока не выросли дети. А детей что ждет! Не вправе она заводить третьего. Не хочет она его. Отец подает пиво в пивной, лишь бы самому напитаться допьяна. Она презирает его — и прикована к нему. Новое дитя ей не по силам. Если б не Уильям и Энни, у нее опустились бы руки в этой борьбе с нищетой, уродством, убожеством.

Слишком она сейчас отяжелела, на улицу не выйти, но и оставаться в доме невмоготу, и она вышла в палисадник. Было жарко, нечем дышать. Она вглядывалась в будущее, и при мысли о том, что ждет впереди, ей казалось, ее похоронили заживо.

Крохотный палисадник окружали кусты бирючины. Миссис Морел постояла там в надежде, что запах цветов, красота угасающего вечера утешат ее. Напротив крохотной калитки была приступка, ведущая на холм, к высокой живой изгороди меж пламенеющих на закате скошенных лугов. Высоко в небе переливался, трепетал свет. Но вот уже померкли луга, землю и живые изгороди обьяла сумеречная дымка. Темнело, и из-за холма поднялось красное сиянье, доносились, теперь уже слабее, отзвуки ярмарочной суеты.

Иногда в провале тьмы, обозначившем тропинку между живыми изгородями, пошатываясь, брел домой мужчина. Какой-то парень припустился бегом по крутому у подножья склону холма и, споткнувшись о приступку, с шумом грохнулся наземь. Миссис Морел вздрогнула. А он поднялся, зло, но и жалобно ругаясь, будто это приступка виновата, что он ушибся.

Неужто и дальше все так и будет, подумала миссис Морел и с этой мыслью пошла в дом. Нет, ничего не изменится в ее жизни, она уже начинала это понимать. Такой далекой кажется юность, и трудно представить, что это она, тяжело ступающая сейчас по двору в Низинном, десять лет назад так легко бежала по молу в Ширнессе.

— У меня-то что общего с этим? — спросила она себя. — У меня-то что общего со всем этим? Даже и с ребенком, которого я ношу! Сдастся мне, сама я совсем не в счет.

Бывает, жизнь вцепится в человека, влечет его за собой, творит его судьбу, и, однако, эта судьба кажется неправдоподобной, будто дурной сон.

— Я жду, — сказала себе миссис Морел. — Жду, а тому, чего жду, может, и не бывать.

Она прибрала в кухне, зажгла лампу, помешала уголь в очаге, собрала на завтра стирку и замочила. Потом села за шитье. Проходил час

за часом, и размеренно снова встала взад-вперед иголка. Иной раз женщина вздохнет, утомившись, переменит позу. И все думает, думает, как лучше распорядиться тем, что ей дано, — ради детей.

В половине двенадцатого вернулся муж. Щеки над черными усами пунцовые, так и лоснятся. Голова покачивается. Сразу видно, очень собой доволен.

— Вон чего! Вон чего! Поджидаешь меня, лапушка? А я Энтони помогал, и сколько, думаешь, он заплатил? Паршивые полкроны, и ни гроша больше...

— Он считает, ты остальное получил пивом, — резко сказала она.

— А я не получил... не получил. Ты мне верь. Я нынче совсем чуток выпил, верно тебе говорю. — Теперь в голосе его зазвучала нежность: — Глянь, я те какой пряничек принес, а ребятишкам вон орех кокосовый. — Он положил на стол круглый пряник и обросший волосками кокос. — Нет, видать, спасибо ни в жисть не дождешься, верно я говорю?

Не желая с ним ссориться, жена взяла кокос и потрясла, проверяя, есть ли в нем молоко.

— Орех что надо, не сумлевайся. Мне Бил Ходжкисон дал. «Бил, — говорю, — на что тебе три ореха-то? Может, дашь один для моего мальчика и девчонки?» А он говорит: «Как не дать, Уолтер, дружище, бери, какой глянулся». Ну я и взял, спасибо ему сказал. Трясти-то у него на глазах не стал, а он говорит: «Ты погляди, Уолт, хорош ли орех взял». Так что я уж знал, орех первый сорт. Золотой он парень, Бил Ходжкисон, золотой!

— Пьяному ничего не жаль, — сказала миссис Морел, — а вы оба с ним напились.

— Да что это ты говоришь, лапушка моя, кто напился? — возразил Морел. Был он до крайности доволен собой, а все оттого, что весь день помогал в «Луне и звездах». И сейчас болтал, не закрывая рта.

Миссис Морел, безмерно усталая, раздосадованная его болтовней, поспешила уйти спать, а он все ворошил угли в очаге.

Миссис Морел была родом из старой добропорядочной семьи горожан, славных сторонников Независимых, которые воевали на стороне полковника Хатчинсона и остались неколебимыми конгрегационалистами. В пору, когда в Ноттингеме разорилось множество предпринимателей, связанных с производством кружев, обанкротился и ее дед. Отец ее, Джордж Коппард, был механик — рослый, красивый, заносчивый, он гордился своей белой кожей и голубыми глазами, но еще того более своей неподкупностью. Гертруда хрупкой фигуркой походила на мать. Но гордый и непреклонный нрав унаследовала от Коппардов.

Джордж Коппард мучительно терзался своей бедностью. Он работал старшим механиком в доках Ширнесса. Миссис Морел, Гертруда, была его второй дочерью. Она пошла вся в мать и ее больше всех любила; но унаследовала коппардовские ясные голубые непокорные гла-

за и высокий лоб. Она помнит, как ненавистна была ей властная ма-
нера отца в обращении с ее кроткой, веселой, добросердечной мате-
рью. Помнит, как бегала по молу в Ширнессе и отыскивала корабль,
который ремонтируют под началом отца. Помнит, как однажды побы-
вала в доках и рабочие баловали ее и расхваливали на все лады, потому
что была она милая и притом гордая девчужка. Помнит чудачковатую
старушку-учительницу в частной школе, у которой она была помощи-
ницей и которой так любила помогать. И она до сих пор хранит Библию,
которую ей подарил Джон Филд. В девятнадцать лет она обычно
возвращалась из церкви с Джоном Филдом. Был он сыном состоятель-
ного коммерсанта, учился в колледже в Лондоне, и ему предстояло
заняться коммерцией.

Ей навсегда запомнилось то сентябрьское воскресенье, когда по-
сле полудня они сидели вдвоем под вьющимся виноградом в саду за
домом ее отца. Солнце пробивалось сквозь просветы между листьями,
и солнечные блики образовали прихотливый узор, словно на них обо-
их накинули кружевной шарф. Иные листья были совсем желтые, буд-
то плоские желтые цветы.

— Не шевелись! — воскликнул он. — Подумай, никак не пойму,
какие у тебя волосы! Яркие, как медь и золото, и красные, будто пла-
менеющая медь, а где коснулось солнце, золотые пряди. Надо же,
и это называется шатенка. Твоя мама говорит, они мышиного цвета.

Гертруда взглянула в его заблестевшие глаза, но ясное лицо ее едва
ли выдало обуявшую ее радость.

— Но ты говоришь, ты коммерцию не любишь, — продолжала она.

— Не люблю. Терпеть не могу! — с жаром воскликнул он.

— И предпочел бы стать священником, — это прозвучало почти
умоляюще.

— Да. Предпочел бы, если б думал, что из меня получится выдаю-
щийся проповедник.

— Тогда почему ж тебе не стать... не стать, кем хочешь? — в голосе ее
прозвучал вызов. — Будь я мужчиной, меня бы ничто не остановило.

Она гордо вскинула голову. И Джон Филд даже оробел.

— Но отец такой упрямый. Он решил определить меня по коммер-
ческой части, и он поставит на своем.

— Но ведь ты мужчина! — воскликнула Гертруда.

— Этого еще недостаточно, — хмурясь, отвечал Джон, смущенный
и беспомощный.

Теперь, в Низинном, среди хлопот по хозяйству, уже имея кой-ка-
кое представление о том, что значит быть мужчиной, она понимала,
что просто быть мужчиной и вправду недостаточно.

В двадцать лет из-за слабости здоровья она уехала из Ширнесса.
Отец увез семью на родину, в Ноттингем. А отец Джона Филда разо-
рился; и сын отправился учительствовать в Норвуд. Она ничего о нем
не знала, пока наконец два года спустя не навела справки. Оказалось,

он женился на своей квартирной хозяйке, сорокалетней вдове, у которой была кое-какая земля.

И однако миссис Морел по сей день хранит подарок Джона — Библию. Теперь она не назвала бы его мужчиной... Что ж, она отлично поняла, что ему дано, а что нет. И она хранит эту Библию, и нетронутой хранит в сердце память о нем. До конца своих дней, тридцать пять лет, она о нем ни разу не заговорила.

Двадцати трех лет она на рождественской вечеринке познакомилась с молодым человеком из Эроушвелли. Морелу было тогда двадцать семь. У него была хорошая осанка, держался он прямо и молодцевато. Его черные волнистые волосы к тому же еще блестели и черная роскошная борода явно никогда не знала бритвы. Щеки румяные, а красный влажный рот особенно приметен оттого, что Морел много и заразительно смеялся. И смех редчайший — глубокий и звонкий. Гертруду Коппард он совершенно очаровал. Был он так ярок, так полон жизни, такой услужливый и милый со всеми, так естественно звучали в его голосе комические нотки. У ее отца было отлично развито чувство юмора, да только сатирического. А у этого человека он другой: мягкий, немудреный, сердечный, какой-то веселящий.

Сама она была иного склада. Имела пылкий, восприимчивый ум и с огромным удовольствием, с интересом слушала других. Была она мастерица разговорить человека. Любила пофилософствовать и считалась девушкой весьма мыслящей. А всего больше ей нравилось беседовать с каким-нибудь хорошо образованным человеком о религии, философии или политике. Такая радость ей выпадала нечасто. И приходилось довольствоваться рассказами людей о себе, находить отраду в этом.

Была она небольшого роста, хрупкого сложения, с высоким лбом и шелковистыми прядями каштановых кудрей. Голубые глаза смотрели на мир прямо, целомудренно и испытующе. Руки были красивые, в Коппардов. Платя она носила неброские. Предпочитала темно-голубой шелк со своеобразной отделкой из серебристых фестонов. Фестоны да тяжелая брошь вилого золота служили единственными украшениями. Была она еще совсем нетронута жизнью, глубоко набожна и исполнена милого чистосердечия.

Глядя на нее, Уолтер Морел словно таял от восхищения. Ему, углекопу, она представлялась истинной леди, загадочной и чарующей. Когда она разговаривала с ним, ее южный выговор, ее великолепный английский язык приводили его в трепет. Она приглядывалась к нему. Он хорошо танцевал, танец был словно его радостным естеством. Его дед, французский беженец, женился на буфетчице-англичанке... если только это можно назвать браком. Гертруда смотрела на молодого углекопа, когда он танцевал, — и было в его движениях некое волшебство, едва уловимое ликованье, смотрела на его лицо, расцветающее румянцем под копной черных волос и равно смеющееся, когда он наклонялся над своей партнершей, кто бы она ни была. Удивительный

человек, никогда она такого не встречала. Образцом мужчины ей казался отец. А Джордж Коппард, с гордой осанкой, красивый и довольно язвительный, разительно отличался от этого углекопа; всем книгам Джордж предпочитал книги богословские и подобие симпатии испытывал к единственному человеку — апостолу Павлу, был неизменно суров с подчиненными, а со знакомыми насмешлив и пренебрегал чувственными удовольствиями. Сама Гертруда не без презренья относилась к танцам, не испытывала к ним ни малейшей склонности и не давала себе труда научиться даже простейшему «роджеру». Как и отец, была она пуританка, возвышенна в мыслях и воистину строга в поведении. И оттого смугло-золотистая мягкость чувственного пламени жизни, что исходила от Морела, точно от пламени свечи, которую не подавляли и не гасили ни мысль, ни душевный настрой, как у нее самой, казалась ей удивительной, непостижимой.

Он подошел и склонился над ней. По всему ее телу разлилось тепло, точно она выпила вина.

— Ну пойдемте же, станцуем, — ласково пригласил он. — Этот танец ведь совсем легкий. Мне страсть охота поглядеть, как вы танцуете.

Она уже говорила ему, что танцевать не умеет. Глядя, как смиренно он ждет, она улыбнулась. Улыбка у нее была прелестная. И так его тронула, что он совсем потерял голову.

— Нет, я не буду танцевать, — мягко отказалась она. И слова ее прозвучали отчетливо и звонко.

Не думая, что делает — чутье нередко подсказывало ему, как вернее поступить, — он сел рядышком, почтительно наклонился.

— Но зачем же вам пропускать танец, — с укором сказала Гертруда.

— Да нет, не желаю я этот, не по мне он.

— А меня, однако, пригласили.

Он от души рассмеялся.

— А ведь верно. Вот вы со мной и расправились.

Теперь, в свою очередь, рассмеялась она.

— Непохоже, что с вами так уж легко справиться, — сказала она.

— Я будто пороссячий хвостик, никак не расправлюсь, сам не знаю, как скручусь да выкручусь, — он громко и весело рассмеялся.

— И ведь вы углекоп! — удивленно воскликнула она.

— Да. Десяти лет в шахту спустился.

Она взглянула на него и сочувственно, и недоверчиво.

— Десяти лет! Но, наверно, было очень тяжело?

— Так ведь скоро привыкаешь. Живешь будтомышь, а ночью выскакиваешь поглядеть, что на белом свете делается.

— Я словно сразу ослепла, — нахмурилась, сказала Гертруда.

— Будто крот! — рассмеялся он. — А у нас и впрямь есть ребята, ну будто кроты. — Он вытянул вперед голову совсем как крот, который вслепую вынюхивает, выискивает дорогу. — А все одно двигаются! — простодушно заверил он. — Ты и не видывала. Дай срок, сведу тебя вниз, сама поглядишь.

Гертруда посмотрела на него со страхом. Ей внезапно открылась новая сторона жизни. Ей представилась жизнь углекопов, сотни мужчин тяжело трудятся под землей, а вечером выходят на поверхность. Какой же он замечательный. Каждый день рискует жизнью, и так весело. В своем бесхитростном смирении она взглянула на него чуть ли не с благоговением.

— А может, не желаешь? — с нежностью спросил он. — А то, глядишь, перепачкаешься.

С тех пор как она стала взрослой, никто никогда не обращался к ней на «ты».

На следующее Рождество они поженились, и первые три месяца она была совершенно счастлива, и еще полгода тоже были счастливые.

Морел дал обет не пить и носил голубую ленту общества трезвенников — он любил покрасоваться. Жили они, как думала Гертруда, в его собственном доме. Был он небольшой, но довольно удобный и вполне мило обставлен солидной добротной мебелью, которая вполне подходила ее бесхитростной натуре. Соседки были ей изрядно далеки, а мать и сестры Морела только что не потешались над ее благородными манерами. Но она могла прекрасно обходиться без них, был бы рядом муж.

Иногда, наскучив разговорами о любви, она пыталась всерьез открыть ему душу. И видела: он слушает уважительно, но не понимает. Это убивало ее стремление к большей душевной близости, и временами ее охватывал страх. Иногда вечерами им овладевало беспокойство, и она понимала, ему недостаточно просто быть подле нее. И радовалась, когда он находил себе какие-нибудь дела по дому.

У него были поистине золотые руки — чего только он не мог сделать или починить. И она, бывало, говорила:

— Как же мне нравится кочерга твоей матушки — такая маленькая, изящная.

— Да неужто? Так ведь это я смастерил, лапушка... могу и тебе сделать.

— Что ты говоришь! Она же стальная!

— А хоть бы и так! Сделаю и тебе вроде нее, может, даже и такую.

Ей не докучали беспорядок, стук молотка, шум. Зато муж был занят и счастлив.

Но однажды, на седьмом месяце их брака, она чистила его выходной пиджак и нащупала в грудном кармане какие-то бумаги, ее вдруг взяло любопытство, она вынула их и прочла. Сюртук, в котором венчался, он носил очень редко, да и бумаги прежде не вызывали у нее любопытства. Это оказались счета на их мебель, до сих пор не оплаченные.

— Послушай, — сказала она вечером, после того как муж вымылся и пообедал, — я нашла это в кармане твоего свадебного сюртука. Ты еще не заплатил по этим счетам?

— Нет. Не успел.

— Но ты же говорил, все оплачено. Давай я схожу в субботу в Ноттингем и рассчитаюсь. Не нравится мне сидеть на чужих стульях и есть за неоплаченным столом.

Морел молчал.

— Дашь мне свою банковскую книжку?

— Дать-то дам, а что толку?

— Я думала, ты... — начала она. Он говорил, у него отложена изрядная сумма. Но что толку задавать вопросы. Горечь, негодование охватили ее, и она сурово замкнулась в себе.

Назавтра она отправилась к свекрови.

— Это ведь вы покупали Уолтеру мебель? — спросила она.

— Ну, я, — с вызовом ответила она.

— Сколько ж он дал вам на нее денег?

Свекровь возмутилась до глубины души.

— Восемьдесят фунтов, если тебе уж так надобно знать, — ответила она.

— Восемьдесят фунтов! Значит, за нее должны еще сорок два фунта!

— Чего ж теперь сделаешь?

— Но куда ушли все деньги?

— А на все, должно, есть бумаги, ты поищи... да еще десять фунтов он должен мне, и шесть фунтов у нас тут ушло на свадьбу.

— Шесть фунтов! — эхом отозвалась Гертруда Морел. Да это просто чудовишно, ее отец так потратился на свадьбу, а в доме родителей Уолтера проели и пропили еще шесть фунтов, да притом за его счет!

— А сколько Уолтер вложил в свои дома? — спросила Гертруда.

— В свои дома... какие такие дома?

У Гертруды даже губы побелели. Он говорил, что дом, в котором они живут, и соседний тоже его собственность.

— Я думала, дом, в котором мы живем... — начала она.

— Мои это дома, обои, — сказала свекровь. — И заложенные они. Я плачу проценты по закладной, а на чего другое у меня денег нет.

Гертруда сидела молча, с побелевшими губами. Сейчас она уподобилась своему отцу.

— Значит, нам следует платить вам за аренду, — холодно сказала она.

— Уолтер мне платит, — ответила мамаша.

— Сколько же? — спросила Гертруда.

— Шестьдесят шесть в неделю, — ответствовала мамаша.

Дом того не стоил. Гертруда выпрямилась, вскинула голову.

— Тебе вон как повезло, — поддела ее свекровь, — об деньгах у мужа голова болит, а ты можешь жить припеваючи.

Молодая ничего на это не ответила.

Мужу она мало что сказала, но обходиться с ним стала по-другому. В гордой, благородной душе ее что-то окаменело.

Наступил октябрь, и все ее мысли были о Рождестве. Два года назад на Рождество она с ним познакомилась. В прошлое Рождество вышла за него замуж. В это Рождество родит ему дитя.

— Вы вроде не танцуете, миссис Морел? — спросила ее ближайшая соседка в октябре, когда только и разговору было, что об открытии танцевальных классов в гостинице «Кирпич и черепица» в Бествуде.

— Нет... танцы никогда меня не привлекали, — ответила она.

— Чудно! И надо же, а за такого вышла. Хозяин-то ваш самый знаменитый танцор.

— А я и не знала, что он знаменитый, — засмеялась миссис Морел.

— Ага, еще какой знаменитый! Как же, больше пяти годов заправлял танцевальными классами в клубе «Шахтерский герб».

— Вот как?

— Ну да, — сказала другая. — Каждый вторник, и четверг, и субботу там, бывало, яблоку негде упасть... и уж миловались там, все говорят.

От таких разговоров тошно и горько становилось миссис Морел, а наслушалась она их предостаточно. Поначалу соседки ее не шадил, потому что, хотя и не ее это вина, а была она им неровня.

Морел стал возвращаться домой довольно поздно.

— Они теперь работают допоздна, верно? — сказала она своей прачке.

— Да сдается мне, как обыкновенно. А только после работы норовят пива хлебнуть у Эллен, а там пойдут разговоры разговаривать, вот время и проходит. Глядишь, обед и простыл... ну, так им и надо.

— Но мистер Морел спиртного в рот не берет.

Прачка выпустила из рук белье, глянула на миссис Морел, но так ничего и не сказала и опять принялась стирать.

Родив сына, Гертруда Морел тяжело захворала. Морел за ней преданно ухаживал, очень преданно. А ей вдали от родных было отчаянно одиноко. Одиноко было и с ним, при нем чувство это становилось только острее.

Мальчик родился маленький, хрупкий, но быстро выправлялся. Был он такой хорошенький, с темно-золотистыми кудряшками и темно-голубыми глазами, которые постепенно светлели и стали серыми. Мать души в нем не чаяла. Он явился на свет, когда горечь разочарования давалась ей особенно тяжело, когда подорвана оказалась вера в жизнь и на душе было безрадостно и одиноко. Она не могла наглядеться на свое дитя, и отец ревновал.

Кончилось тем, что миссис Морел стала презирать мужа. Всю свою любовь она обратила на ребенка, а от отца отвернулась. Он же перестал замечать ее, собственный дом утратил для него прелесть новизны. Тряпка он, с горечью сказала себе Гертруда Морел. Идет на поводу сиюминутного чувства. Не может твердо держаться чего-то одного. Только и умеет пускать пыль в глаза.

И между мужем и женой началась война — жестокая, беспощадная, которая кончилась лишь со смертью одного из них. Жена добивалась, чтобы он взял на себя обязанности главы семьи, чтобы выполнял свой долг. Но слишком он был непохож на нее. Он был натурой сугубо чувственной, а жена старалась обратить его в человека нравственного, человека добродетельного и религиозного. Она пыталась заставить его смело смотреть в лицо жизни. А ему это было невтерпеж, приводило его в ярость.

Мальш был еще крохой, а отец стал совсем неуправляем, ненадежен. Стоило ребенку чуть провиниться, и отец накидывался на него с бранью. И чуть что давал волю своим шахтерским ручищам. В такие минуты миссис Морел начинала ненавидеть мужа, ненавидела не день и не два, и он уходил из дому и напивался, только ее это уже не трогало. Но, когда он возвращался, она безжалостно его язвила.

Из-за этой их отчужденности он иной раз, сознательно или бессознательно, грубо ее оскорблял, чего прежде не сделал бы.

Уильяму был всего год, и такой он стал хорошенький, что мать им гордилась. Жила она теперь в скудости, но ее сестры наряжали мальчика. И с густыми кудрями, в белой шапочке с развевающимся страусовым пером и в белом пальтишке он был ее утехой. Однажды воскресным утром миссис Морел лежала и прислушивалась — внизу отец болтал с малышом. Потом задремала. Когда она сошла вниз, в камине пылал огонь, было жарко, кое-как накрыт стол к завтраку, у камина в своем кресле сидел Морел, несколько смущенный, а между его колен стоял мальш, остриженный как овца — головенка такая смешная, круглая, — и озадаченно смотрел на нее, а газета, расстеленная на каминном коврикe, усыпана была мириадами завитков, пламенеющих в отблесках пламени точно лепестки бархатцев.

Миссис Морел замерла. То было ее первое дитя. Она побелела, не в силах вымолвить ни слова.

— Как он тебе нравится? — с неловким смешком спросил Морел.

Она сжала кулаки, подняла и пошла на него. Морел отшатнулся.

— Убить тебя мало, убить! — сказала она. И поперхнулась от ярости, все еще с поднятыми кулаками.

— Нечего девчонку из него делать, — испуганно сказал Морел, пригнув голову, чтоб не встретиться с ней взглядом. Ему было уже не до смеха.

Мать смотрела, как он обкорнал ее малыша. Она обняла наголо обстриженную головенку и стала гладить и ласкать ее.

— Ох, мой маленький! — Голос изменял ей. Губы задрожали, лицо исказилось, она обхватила мальчика, спрятала лицо у него на плече и мучительно зарыдала. Она была из тех женщин, которые не способны плакать, которым это так же нестерпимо, как мужчине. Каждое рыдание будто с трудом вырывали у нее из груди.

Морел сидел, уперев локти в колени, так стиснул руки, даже костяшки побелели. Чуть ли не оглушенный, кажется, не в силах перевести дух, он безотрывно смотрел в огонь.

Но вот рыдания стихли, мать успокоила малыша и убрала со стола. Газету, усыпанную кудряшками, она оставила на каминном коврике. Муж наконец поднял ее и сунул поглубже в огонь. Миссис Морел хозяйничала, сжав губы, молча. Морел был подавлен. С несчастным видом слонялся по дому, и каждая трапеза была для него в этот день пыткой. Жена разговаривала с ним вежливо, ни словом не помянула, что он натворил. Но он чувствовал, что-то между ними решилось окончательно.

Позже она сказала, что вела себя глупо, рано или поздно мальчика все равно надо было постричь. В конце концов даже заставила себя сказать мужу, мол, вполне можно было это сделать и тогда, когда ему вздумалось разыграть парикмахера. Но и она, и Морел знали, из-за его поступка что-то в ней круто изменилось. Случай этот она помнила до конца своих дней, — никогда еще ничто не причинило ей такой душевной боли.

Это проявление мужской грубости пробило брешь в ее любви к Морелу. Прежде, яростно сражаясь с ним, она волновалась, уж не теряет ли она его. Теперь ее не волновало больше, любит он ее, нет ли — он стал ей чужим. И жить стало легче.

Однако миссис Морел по-прежнему воевала с мужем. По-прежнему в ней силен был высоконравственный дух добродетели, унаследованный от нескольких поколений пуритан. Теперь в ней говорила впитанная с молоком матери набожность, и в отношениях с мужем она доходила чуть ли не до фанатизма, потому что любила его, по крайней мере любила прежде. Если он грешил, она терзала его. Если пил, лгал, нередко вел себя как отъявленный трус, а случалось, и плутовал, она безжалостно его бичевала.

На беду, она слишком была с ним несхожа. Не могла она удовольствоваться тем малым, что было ему дано; он нужен был ей таким, каким по ее понятиям следовало быть. И вот, стремясь сделать его благороднее, чем он способен был быть, она губила его. Себя она ранила, бичевала до рубцов и шрамов, но все ее достоинства оставались при ней. К тому же у нее были дети.

Морел пил, и немало, хотя не больше многих других углекопов, притом только пиво, так что, хотя это и отражалось на его здоровье, особого вреда ему не причиняло. Конец недели был у него любимое время для загула. Каждую пятницу, субботу и воскресенье он весь вечер, до самого закрытия, сидел в «Гербе углекопа». В понедельник и вторник он с большой неохотой уходил из пивной не позднее десяти. В среду и четверг иногда проводил вечера дома, а если уходил, то всего на часок. Работу же из-за выпивки никогда не пропускал.

Но хотя работник он был на редкость надежный, платили ему все меньше и меньше. Он болтал лишнее, давал волю языку. Начальство было ему ненавистно, и он всю честил штейгеров.

— Нынче утром приходит к нам в забой десятник и говорит, — рассказывал он в пивной Палмерстона. — «Нет, говорит, Уолтер, так не годится. Это разве стойки?» А я ему, мол: «Чего зря болтать? Чем тебе стойки не поглянулись?» А он: «Так не пойдет, говорит, у тебя свод не сегодня завтра рухнет». А я ему: «Так ты стань вон на глыбу да своей головой и подопр». Ну, он взбеленился, озлел, ругается, а ребята гогочут. — У Морела явно была актерская жилка. Он отлично изображал самодовольного десятника, который пытался скрипуче выговаривать слова по всем правилам, а не на местный лад. «Я, говорит, этого не потерплю, Уолтер. Кто в деле разбирается лучше, я или ты?» А я ему: «Почем мне знать, Элфрид, много ли ты смыслишь. Только и умеешь, что в постель да из постели».

Так Морел без конца развлекал своих собутыльников. И кое-что из его рассказов было правдой. Штейгер мало в чем разбирался. Мальчишками они с Морелом росли рядом и, хоть недолюбливали друг друга, давно так или иначе друг с другом свыклись. Но вот рассказней в пивной Элфрид Чарлзуорт своему сверстнику не прощал. И хоть тот был умелый углекоп и, когда женился, иной раз получал добрых пять фунтов в неделю, со временем забой, в которые его ставили, оказывались все хуже и хуже, уголь в них залегал тонким слоем, вырубать его было трудно и неденежно.

К тому же летом на шахтах наступает затишье. В яркие солнечные дни мужчины часто разбредаются по домам уже в десять, одиннадцать, двенадцать часов. У устья выработки не видно пустых вагонеток. И женщины, по утрам выбивая о забор каминные коврики, смотрят с окрестных холмов вниз, считают, сколько платформ тащит по долине паровоз. А дети, возвращаясь в обед из школы, глядят на шахты, видят, что колесо на главном стволе не крутится, и говорят:

— На Минтоне пошабашили. Отец, должно, дома.

И на все лица будто тень ложится — на женские, на детские и на мужские, ведь в конце недели получка будет жалкая.

Морел обычно давал жене тридцать шиллингов в неделю на все про все: на арендную плату, еду, одежду, на взносы в общество взаимопомощи, на страховку и на докторов. Иногда, расщедрившись, давал тридцать пять. Но куда чаще, напротив, ограничивался двадцатью пятью. Зимой, если углекопу доставался хороший забой, он мог заработать пятьдесят, а то и пятьдесят пять шиллингов в неделю. Тогда он бывал рад и счастлив. Вечером в пятницу, в субботу и в воскресенье давал себе волю, спускал порой и целый соверен. И из таких деньжищ едва ли уделял детям лишний пенни, фунта яблок и то им не покупал. Все шло на выпивку. В плохие времена он зарабатывал меньше, зато не так часто напивался, и миссис Морел, бывало, говорила:

— Пожалуй, даже лучше, когда денег в обрез, ведь когда он при деньгах, нет у меня ни минуты покоя.

Если он получал сорок шиллингов, он оставлял себе десять, из тридцати пяти оставлял себе пять, из тридцати двух — четыре, из двадцати восьми — три, из двадцати четырех — два, из двадцати — полтора, из восемнадцати — один шиллинг, из шестнадцати — шестипенсовик. Он никогда не отложил ни гроша, и жене тоже не давал такой возможности; больше того, ей даже иногда приходилось платить его долги; не за выпитое пиво — эти долги с женщин никогда не спрашивали, — но за канарейку, которую ему вздумалось купить, или за щегольскую трость.

Во время ярмарки Морел работал плохо, и миссис Морел выбивалась из сил, чтобы отложить на роды. Горько ей было думать, что она, измученная, сидит дома, а он меж тем развлекается и сорит деньгами. Праздничных дней было два. Во вторник Морел поднялся чуть свет. Настроение у него было отличное. Спозаранку, еще и шести не было, она услышала, как он, насвистывая, спускается по лестнице. Насвистывал он всегда премило, весело и мелодично. И чаще всего церковные гимны. Мальчиком он пел в церковном хоре, голос у него был очень хорош, и он исполнял сольные партии в Саутуэллском соборе. Только по его утреннему свисту и можно было это представить.

Лежа в постели, жена прислушивалась, как он на скорую руку что-то мастерит в огороде, пилит, прибывает, и звенит, переливается его свист. И всякий раз, когда ранним ярким утром он вот так радовался на свой мужской лад, а дети еще спали и сама она еще лежала в постели, на душе у нее становилось тепло и покойно.

В девять, когда дети, еще босые, играли на диване, а мать умывалась, Морел, кончив плотничать, вошел в дом, рукава сорочки закатаны, жилет нараспашку. С черной волнистой шевелюрой и пышными черными усами он был еще очень недурен. Лицо, пожалуй, чересчур румяное и чуть ли не капризное. Но сейчас он был весел. И пошел прямо к раковине, где умывалась жена.

— Вот ты где! — раскатился по дому его голос. — Поди отсюда, дай мне сполоснуться.

— Можешь и подождать, пока я кончу, — сказала жена.

— Вот еще! А если не погожу?

Благодушная угроза эта позабавила миссис Морел.

— Тогда поди умойся в лохани с теплой водой.

— Чего ж, это можно, чумичка ты моя.

Говоря так, он постоял, поглядел на нее, потом отошел, чтоб дать ей домыться.

При желании он и теперь еще мог выглядеть хоть куда. Обычно, выходя из дому, он обертывал шею шарфом. А вот сейчас принялся всерьез наводить глянец. Со вкусом отдувался и полоскался, потом поспешно кинулся к зеркалу в кухне и, склоняясь, — уж очень низко оно висело, — так старательно расчесал на пробор влажные черные

волосы, что миссис Морел даже досада взяла. Он пристегнул отложной воротничок, надел черный галстук-бабочку и парадный костюм. Теперь он глядел шеголем, не столько оттого, что прифрантился, сколько благодаря бессознательному умению блеснуть своей внешностью.

В половине десятого за ним зашел его приятель Джерри Порди. Джерри был закадычный друг Морела, а миссис Морел его недолюбливала. Был он высокий, тощий, с лисьей физиономией, и глаза, казалось, совсем без ресниц. Он гордо выступал, осторожно неся голову, будто она держалась на ломкой деревянной пружине. По натуре он был человек холодный и расчетливый. Само великодушие, когда уж хотел быть великодушным, он, казалось, души не чаял в Мореле и на свой лад опекал его.

Миссис Морел терпеть его не могла. Она помнила его жену — та умерла от чахотки и под конец так яростно возненавидела мужа, что, если он входил к ней в комнату, у нее начинала идти кровь горлом. Но, похоже, ни то ни другое Джерри не смущало. И теперь старшая, пятнадцатилетняя дочь хозяйничала в его нищем доме и заботилась о двух младших детях.

— Бессердечный скряга! — говорила о нем миссис Морел.

— Отродясь не видал, чтоб Джерри скряжничал, — возражал Морел. — Широкий парень, отродясь щедрей человека не видал, — вот он, по-моему, какой.

— Это он с тобой щедрый, а своим детям, бедняжкам, каждый грош жалеет, — не соглашалась миссис Морел.

— Бедняжкам! Это почему ж такое они бедняжки, интересно?

Но когда речь заходила о Джерри, миссис Морел оставалась непреклонной.

А предмет их спора был уже тут как тут — его голова на тощей шее показалась над кухонной занавеской. Он поймал взгляд миссис Морел.

— Доброго утречка, хозяйка! Сам дома?

— Да... дома.

Не дожидаясь приглашения, Джерри вошел и остановился у порога. Сестра она ему не предложила, и он так и стоял, невозмутимо утверждая права мужчин и мужей.

— Денек что надо, — сказал он миссис Морел.

— Да.

— На дворе красота... — прогуляться сейчас красота.

— Собираетесь прогуляться? — спросила миссис Морел.

— Да. Хотим прогуляться в Ноттингем, — был ответ.

— Хм!

Мужчины поздоровались, оба с явным удовольствием, однако Джерри держался свободно и уверенно, Морел же довольно скованно — в присутствии жены боялся слишком явно выказывать радость. Но резво, мигом зашнуровал башмаки. Им предстояло пройти пеш-

ком, полями десять миль до Ноттингема. Поднявшись из Низинного на холм, они весело вступили в утро. В «Луне и звездах» выпили по первому стаканчику и двинулись дальше, к «Старому местечку». Потом долгие пять миль предстояло терпеть жажду до «Бычьего источника», до желанной пинты доброго горького пива. Но по дороге они еще посидели с косарями, у которых бутылка была полна, так что, когда завиднелся город, у Морела слипались глаза. Город раскинулся перед ними, дымясь в полдневном мареве, он поднимался по холму, и шпили, громады фабричных корпусов, трубы скрывали с юга его вершину. На последнем лужке Морел улегся под дубом и крепко проспал больше часу. А когда проснулся и они двинулись дальше, почувствовал, что хмель еще не выветрился.

Они пообедали в «Луговине» у сестры Джерри, потом отправились в «Пирушку», где так и бурлили всевозможные азартные игры. Морел никогда не играл в карты, ему казалось, они обладают какой-то таинственной злой силой, — «бесовские картинки» называл он их! Но он знал толк в кеглях и в домино. И принял вызов одного ньюаркца, пожелавшего сразиться в кегли. Все, кто был в длинном зале старой пивной, тут же разделились, одни ставили на Морела, другие на его противника. Морел скинул сюртук. Джерри держал шапку с деньгами. За столами с них не спускали глаз. Кое-кто поднялся с кружкой в руках. Морел хорошенько примерился к большому деревянному шару, метнул. Кегли развалились, он выиграл полкроны и теперь оказался при деньгах.

К семи часам два приятеля порядком нагрузились. Поездом 7:30 они покатали домой.

Во второй половине дня в Низинном стало невыносимо. Все, кто был в это время в поселке, высыпали из домов. Женщины, с непокрытыми головами, в белых фартуках, собравшись по две, по три, судачили в проулках. Мужчины, отдыхая между выпивками, сидели на корточках и толковали о своем. Воздух был спертый, в сухом зное ослепительно блестели шиферные крыши.

Миссис Морел пошла с маленькой дочкой на луг, к речушке, всего в каких-нибудь двухстах ярдах от дома. Вода живо бежала по камням и черепкам. Мать и малышка облокотились о перила старого мостика для овец и смотрели, что делается вокруг. Вверх по течению, у глубокой заводи на другом конце луга, подле желтой воды мелькали голые мальчишеские тела, изредка освещенная солнцем фигурка, блестя, стремглав пронеслась над темнеющими неподвижными травами. Миссис Морел знала, Уильям тоже у заводи, и ее не отпускал страх — как бы не утонул. Энни играла у высокой живой изгороди, подбирала ольховые шишки, она их называла черной смородиной. С малышки ни на минуту нельзя было спускать глаз, да еще и мухи одолевали.

В семь миссис Морел уложила детей. И некоторое время сидела и шила.

Когда Уолтер Морел и Джерри вернулись в Бествуд, оба сразу повеселели: уже не грозила поездка по железной дороге и теперь можно было достойным образом закончить этот замечательный день. Они зашли в пивную Нелсона с чувством удовлетворения, какое испытываешь после долгих странствий.

Назавтра предстоял рабочий день, и мысль об этом омрачала настроение мужчин. К тому же у большинства уже кончились деньги. Кое-кто, покачиваясь, уныло брел домой, выспаться перед завтрашней работой. Под их заунывное пение миссис Морел вошла в дом. Вот уже девять часов, десять, а дружков все нет. Слышно было, поодаль на крыльечке, какой-то гуляка громко тянет «Веди нас, путеводный свет». Миссис Морел неизменно возмущалась, что пьяным, когда расчувствуются, приходит охота петь этот гимн.

— Мог бы и «Женевьевой» обойтись, — сказала она.

Кухню наполнял запах кипящих трав и шишек хмеля. На подставке в камине в большой черной кастрюле что-то неторопливо булькало. Миссис Морел взяла большую глиняную миску, щедро насыпала в нее рафинаду и, поднатужившись, перелила туда кипящую жидкость из кастрюли.

В эту минуту вошел Морел. У Нелсона он был на зависть весел, но по дороге домой помрачнел. Он не вовсе преодолел досаду и огорчение, оттого что, напившись, заснул на лугу; и на пути к дому его стала мучить нечистая совесть. Он сам не понимал, что зол. Но едва ощутил, что садовая калитка не поддается, пнул ее ногой и сломал щеколду. Когда он вошел, миссис Морел как раз выливала из кастрюли настой трав. Качнувшись, Морел задел стол. Чаша с горячей смесью накренилась. Миссис Морел отскочила.

— Боже милостивый! — воскликнула она. — Прийти домой пьяным!

Она вдруг вышла из себя.

— Может, скажешь, ты не пьян! — в сердцах бросила она.

Она поставила кастрюлю и стала размешивать сахар в пиве. Морел тяжело опустил руки на стол, свирепо выпятил челюсть.

— Может, скажешь, ты не пьяный, — повторил он. — Ишь чего выдумала, сучка паршивая.

И он опять вздернул подбородок, свирепо глядя на жену.

— На что другое денег нету, а на выпивку нашлись.

— Я нынче, считай, сущие гроши потратил, — сказал Морел.

— На гроши так не напьешься, — возразила она. И вдруг, придя в ярость, закричала: — А если тебя угощал твой любезный Джерри, так лучше б он о своих детях подумал, им деньги нужней.

— Вранье, вранье. Заткнись, баба.

Они разругались не на шутку. В пылу схватки каждый забыл про все на свете, кроме ненависти к другому. Миссис Морел разгорячилась, была взбешена не меньше мужа. И так шло, пока он не назвал ее лгуньей.

— Нет! — крикнула она, выпрямившись, у нее перехватило дыхание. — Ты не смеешь так меня называть... да такого презренного лгуна, как ты, свет не видал. — Она чуть не задохнулась, с трудом выговорила последние слова.

— Это ты лгунья! — заорал он, стуча кулаком по столу. — Ты, ты лгунья!

Она сжала кулаки, вся напряглась. И крикнула:

— Из-за тебя в доме мерзко!

— Тогда убирайся... это мой дом! Убирайся! — завопил Морел. — Это я приношу в дом деньги, не ты. Мой это дом, не твой. Убирайся вон... убирайся!

— Я бы рада, — воскликнула она, вдруг разрыдавшись от собственного бессилия. — Да если б не дети, я бы и ушла, ушла бы давным-давно, пока был еще только один ребенок. — И так же вдруг осушив слезы, яростно крикнула: — Думаешь, это я из-за тебя остаюсь... думаешь, из-за тебя я осталась бы хоть на минуту?

— Так убирайся вон! — вне себя заорал Морел. — Вон!

— Нет! — Она взглянула ему прямо в лицо. — Нет, — громко сказала она. — Не бывать по-твоему, не все будет по-твоему. У меня на руках дети. Право слово, — она засмеялась, — хороша я буду, если доведу их тебе.

— Вон! — хрипло выкрикнул он, подняв кулак. Он боялся ее. — Вон!

— Я бы с радостью. Господи, да если б я могла уйти от тебя, я бы только веселилась, да, веселилась, — сказала она в ответ.

Он метнулся к ней, выпятив челюсть, лицо воспаленное, глаза налиты кровью, схватил за плечи. Она в страхе закричала, попыталась вырваться. Чуть опомнясь, тяжело дыша, он грубо пихнул ее к двери, вытолкнул за порог на улицу, рывком, с грохотом запер дверь на засов. Потом вернулся в кухню, рухнул в кресло, голова, лопаясь от прихлынувшей крови, повисла меж колен. Усталый, пьяный, он постепенно погрузился в оцепенение.

В эту августовскую ночь высоко в небе стояла великолепная луна. Под ее ярким белым светом разгоряченную гневом миссис Морел обдало холодом, страх охватил ее взволнованную душу. Несколько минут потрясенная женщина беспомощно глядела на крупные сверкающие листья ревеня подле двери. Потом тяжело перевела дух. И, дрожа всем телом, пошла по дорожке, а под сердцем шевельнулось потревоженное дитя. Она все не могла прийти в себя; машинально перебрала в уме только что разыгравшуюся сцену, опять к ней вернулась; иные фразы, иные мгновенья каленым железом обжигали душу; и всякий раз, как она снова представляла себе этот последний час, каленым железом било по тому же месту, навек выжигая клеймо, и наконец боль выгорела дотла и миссис Морел опомнилась. Должно быть, прошло с полчаса. Теперь она вновь осознала, что ее окружает ночь. В страхе огляделась по сторонам. Оказалось, она забрела в сад за домом и бро-

дит взад и вперед по дорожке мимо кустов черной смородины, растущих вдоль длинной ограды. Сад был узкой полоской земли, и колючая живая изгородь отделяла его от пересекающей улицу дороги.

Миссис Морел торопливо прошла в палисадник, что был теперь словно огромный залив белого света, прямо в лицо ей с высоты светила луна, лунный свет низвергался с высящихся перед нею холмов, заливал долину, в которой примостился поселок Низинный, и едва ее не ослепил. Тяжело дыша и всхлипывая после перенесенного напряжения, она вновь и вновь бормотала про себя:

— Надоело! Надоело!

Что-то она ощутила рядом. С трудом встряхнулась и посмотрела, что же это коснулось ее сознания. В лунном свете покачивались высокие белые лилии, и воздух полон был их ароматом, будто чьим-то присутствием. Миссис Морел судорожно вздохнула. Потрогала лепестки больших бледных цветов и вздрогнула. Казалось, они вытягиваются в лунном свете. Она осторожно сунула руку в белую чашечку и в лунном свете едва разглядела на пальцах золотой след. Она наклонилась, хотела рассмотреть желтую пыльцу, но все было смутно. Тогда она глубоко вдыхнула аромат. И ей чуть не сделалось дурно.

Миссис Морел оперлась о садовую калитку и, глядя на улицу, глубоко задумалась. Она не знала, о чем думает. Чувствовала лишь, что ее подташнивает, и помнила про свое дитя, и, подобно аромату лилии, сама растворялась в сверкающем бледном воздухе. Немного погодя и дитя вместе с ней растворилось в этой чаше лунного света, и она покоилась там заодно с холмами, и лилиями, и домами, и они плыли все вместе будто в забытыи.

Очнувшись, она почувствовала, что устала и хочет спать. Вяло огляделась; купы белых флоксов походили на кусты, покрытые белым холстом; ночной мотылек ударился о них и отлетел в другой конец садика. Следя за ним взглядом, миссис Морел стряхнула с себя сон. Струи влажного, острого аромата флоксов взбудрили ее. Она прошла по дорожке, помедлила у куста белых роз. Они пахли нежно и бесхитростно. Она потрогала белые сборки цветов. Свежий запах и мягкая прохлада листьев напомнили о раннем утре, о солнечном свете. Она так их любила. Но сейчас она устала и хотелось спать. В этом таинственном мире вне стен дома она чувствовала себя потерянной.

Не слышно было ни звука. Видно, детей ссора не разбудила, или они успели снова уснуть. С грохотом пересек долину поезд в трех милях отсюда. Ночь такая огромная, незнакомая, и нет ей, извечной, ни конца, ни края. Из серебристо-серой сумрачной мглы доносятся слабые, хриплые звуки: неподалеку скрип коростеля, шум поезда, будто вздох, в отдалении возгласы мужчин.

Унявшееся было сердце опять забилося чаще, миссис Морел торопливо пошла по дорожке к черному ходу. Тихонько подняла щеколду, оказалось, дверь еще на засове, заперта, чтоб она не могла войти. Она негромко постучала, подождала, опять постучала. Как бы не раз-

будить детей или соседей. Он, должно быть, спит и проснется не вдруг. Огнем жгло — скорей бы попасть в дом. Она уцепилась за ручку двери. Как холодно стало, можно ведь простыть, и это в ее теперешнем-то положении!

Она покрыла голову и плечи фартуком и опять торопливо пошла в сад, к окну кухни. Облокотясь на подоконник, она только и сумела увидеть из-под шторы раскинутые на столе руки мужа и между ними черную голову. Он спал, уткнувшись лицом в стол. Что-то в его позе заставило жену ощутить, как она от всего устала. Свет в кухне медно-красный, значит, лампа коптит. Миссис Морел забарабанила в окно, громче, громче. Того и гляди разобьется стекло. А муж не просыпался.

После этих напрасных попыток миссис Морел бросило в дрожь — слишком был холоден камень, да и усталость навалилась. В вечном страхе из-за еще не рожденного ребенка она гадала, как бы согреться. Прошла к сараю, там лежал старый половик, позавчера она снесла его туда, чтоб отдать старьевщику. Она накинула половик на плечи. Был он теплый, хотя и перепачканный. И она стала ходить взад-вперед по садовой дорожке, время от времени заглядывала под штору, стучала в окно и уговаривала себя, что в конце концов он проснется, уж слишком у него неудобная поза.

Но вот спустя час она опять негромко застучала в окно, стучала долго. Постепенно звук этот дошел до Морела. Когда, отчаявшись, она перестала барабанить по стеклу, она увидела, что муж шевельнулся, потом, не открывая глаз, поднял голову. Сильно бьющееся сердце пробудило его сознание. Миссис Морел требовательно застучала в окно. Он проснулся. Мигом сжал кулаки, глаза яростно сверкнули. Он ничуть не испугался. Окажись тут хоть двадцать грабителей, он не рассуждая сразился бы с ними. Он в ярости огляделся, недоуменно, но готовый к схватке.

— Отвори, Уолтер, холодно, — сказала жена.

Кулаки его разжались. До него дошло, что он натворил. Голова опустилась, лицо стало угрюмое, замкнутое. Она увидела, как он затопился к двери, услышала, как лязгнул засов. Морел дернул задвижку. Дверь отворилась — и вот вместо тускло-желтого света лампы перед ним серебристо-серая ночь. Он поспешно отступил.

Когда миссис Морел вошла в дом, он уже почти бежал к лестнице. Торопясь скрыться, прежде чем войдет жена, он наскоро содрал с шеи пристежной воротничок, и тот валялся на полу с лопнувшими петлями. Ее это рассердило.

Согревшись, она успокоилась. От усталости обо всем позабыла, бродила по дому, делала те нехитрые дела, с которыми прежде не успела управиться, собрала мужу завтрак, сполоснула бутылку, которую он брал с собой в шахту, положила рабочую одежду к огню, чтоб согрелась, поставила к ней рабочие башмаки, достала чистый шарф, сумку для еды, два яблока, пошуровала в очаге и поднялась в спальню. Морел уже крепко спал. Тонкие черные брови его были подняты в го-

рестном недоумении, щеки запали, уголки рта угрюмо опущены, он словно говорил: «Плевать мне, кто ты и что ты, все равно сделаю по-своему».

Миссис Морел и смотреть на него не надо было, все слишком хорошо знакомо. Расстегивая перед зеркалом брошь, она слабо улыбнулась — оказалось, все лицо у нее в желтой пылице лилий. Она смахнула пыльцу и наконец легла. Некоторое время в мозгу что-то вспыхивало, мерцало, но она уснула еще до того, как муж наконец проспался.

Глава вторая

РОЖДЕНИЕ ПОЛА И ЕЩЕ ОДНО СРАЖЕНИЕ

После недавней стычки Уолтер Морел несколько дней был смущен и пристыжен, но скоро вновь обрел свое задиристое безразличие. Однако уверенности в нем поубавилось. Он даже как-то съезжился и выглядел уже не таким крупным и внушительным. Дородностью он не отличался, и, когда утратил уверенную, горделивую осанку, казалось, вместе с гордостью и внутренней силой дала усадку и его плоть.

Но теперь он понимал, как тяжела жене работа по дому, и, подгоняемый сочувствием, возникшим из раскаяния, спешил ей на помощь. Из шахты он стал сразу возвращаться домой и вечерами никуда не уходил, но в пятницу не выдержал. Однако уже к десяти вернулся лишь слегка навеселе.

Завтрак он готовил себе сам. Он привык вставать рано, времени было в избытке, и не в пример многим углекопам не требовал, чтобы жена поднималась в шесть. Просыпался в пять, а то и раньше, тут же вставал и шел вниз. Когда жене не спалось, она ждала этой минуты, чтобы немного полежать в мире и покое. По-настоящему отдыхала она, только когда его не было дома.

Он спустился вниз в сорочке, натянул шахтерские штаны, которые на ночь оставляли у очага, чтоб они были теплые. В очаге всегда горел огонь, миссис Морел не давала ему угаснуть. И поутру первым делом слышен бывал стук кочерги о решетку — это Морел разбивал остатки угля, чтобы вскипел наконец чайник, заранее налитый и стоявший на полке над огнем. Чашка, нож, вилка — все необходимое, кроме еды, ждало его на столе, на газете. Теперь он достал завтрак, заварил чай, подоткнул под двери половики, чтоб не было сквозняка, разложил большой огонь и сел — можно было целый час предаваться радости. Он подцепил вилкой ломтик бекона, поджарил на огне и толстым ломтем хлеба поймал стекающие капли жира; потом положил бекон на хлеб, складным ножом нарезал большие куски, налил в блюдце чай и почувствовал себя счастливым. Семейные трапезы никогда не доставляли ему такого удовольствия. Он терпеть не мог вилку; это современное новшество еще не вошло в обиход простого народа. Морел предпочитал орудовать складным ножом. К тому же в одиночестве он в холод-

ную погоду часто ел и пил, сидя на низенькой скамеечке, прислонясь спиной к теплой трубе, поставив тарелку на каминную решетку, а чашку прямо на каменную плиту. А потом читал вечернюю газету, то, что мог из нее прочесть, с трудом складывая слова. И еще он предпочитал даже среди бела дня сидеть с опущенными шторами и при свече — таков был шахтерский обычай.

Без четверти шесть он вставал, отрезал два толстых ломтя хлеба, мазал маслом и укладывал в белую коленкоровую сумку. В жестяную фляжку наливал чай. Холодный чай без молока и без сахара — вот питье, которое он предпочитал в шахте. Потом, сняв рубашку, натягивал шахтерскую фуфайку, жилет из плотной фланели с большим вырезом у шеи и с короткими рукавами, как у женской сорочки.

Потом с чашкой чаю поднимался в спальню, к жене, оттого что она была нездорова или оттого, что так ему вздумалось.

— Я принес тебе чашечку чаю, лапушка, — говорил он.

— Ну, напрасно, ведь ты знаешь, я этого не люблю, — отвечала она.

— Выпей, и враз опять уснешь.

Жена брала чашку. Ему приятно было, что она взяла чай и пьет маленькими глотками.

— Даю голову на отсечение, ты не положил сахару, — говорила она.

— Вот еще... большущий кусище, — обиженно отвечал он.

— Чудеса. — И она опять принималась пить маленькими глоточками.

Распущенные волосы очень ее красили. Ему нравилось, когда она вот так ворчала на него. Он опять на нее глянул и, никак не простясь, пошел прочь. Обычно он брал с собой в шахту всего два ломтя хлеба с маслом, а яблоко или апельсин в придачу — это было уже лакомство. Ему нравилось, когда жена клала что-нибудь такое в его сумку. Он повязал шею шарфом, надел большие тяжелые башмаки, куртку с большим карманом для сумки и фляжки с чаем и вышел на по-утреннему свежий воздух, затворив, но не заперев за собою дверь. Он любил ранним утром шагать через поля. Подходил к устью шахты, часто с веточкой в зубах, которую выдернул из живой изгороди, и потом жевал весь день, чтоб в шахте у него не пересыхало во рту, и так же легко у него было на душе, как когда шел полями.

Со временем, когда до жениных родов оставалось совсем недолго, он перед работой на свой небрежный лад наводил порядок в доме, выгребал золу, подметал. Потом, очень собой довольный, поднимался в спальню.

— Ну вот, я все прибрал. Теперь весь день знай отдыхай, только и делов, что книжки читать.

И хоть и раздосадованная, жена не могла удержаться от смеха.

— А обед сварится сам собой? — говорила она в ответ.

— Ну, насчет обеда не знаю.

— Когда б его не было, знал бы.

— Да уж, видать, так, — отвечал он, уходя.

Немного погодя она шла вниз, там оказывалось прибрано, но грязно. Она не давала себе передышки, пока не наведет чистоту; потом выносила мусор в яму для золы. Миссис Керк, соседка, поджидавшая, когда она выйдет, старалась в ту же минуту пройти к своей угольной яме. И оттуда окликала через деревянный забор:

— А вы все не утомитесь?

— Да уж, — сухо вато отвечала миссис Морел. — Ничего не поделаешь.

— Хоуза не видали? — донесся через дорогу голос крохотной женщины. То была миссис Энтони, черноволосая нескладная коротышка, она всегда носила плисовые платья в обтяжку.

— Я не видела, — отозвалась миссис Морел.

— Ну что б ему прийти. У меня уже полно готового, и, сдастся мне, я слышала его колокольчик.

— Слушайте! Вот и он, в том краю.

Обе женщины посмотрели вдоль улицы. В конце поселка стоял человек в допотопной таратайке, наклонясь над желтоватыми узлами какого-то тряпья, а вокруг теснились женщины, протягивали к нему руки, и у иных в руках были узлы. Миссис Энтони держала охапку некрашенных желтоватых чулок.

— Я на этой неделе десять дюжин сделала, — с гордостью сказала она миссис Морел.

— Тц-тц. — Другая соседка даже прищелкнула языком. — И откуда только вы время берете?

— Э, да если расстараяешься, время найдется, — сказала миссис Энтони.

— Нет, не знаю, как вы поспеваете, — сказала миссис Морел. — И сколько вы получите за них за все?

— Два с половиной пенса за дюжину пар.

— Да я лучше буду голодать, чем стану корпеть над дюжиной пар за два с половиной пенса, — сказала миссис Морел.

— Ну, не знаю, — сказала миссис Энтони. — Сколько ни есть, а зарабатываешь.

Хоуз двигался в их сторону, позванивал колокольчиком. Женщины стояли в калитках, перекинув через руку приготовленные чулки. Хоуз, простой малый, шутил с ними, старался их обчитать, страшал. Миссис Морел, надменно вскинув голову, пошла в глубь своего двора.

В Низинном так повелось, что если соседке требовалась помощь соседки, она совала кочергу в камин и стучала в заднюю стенку, а так как камин примыкали друг к другу задними стенками, в соседнем доме раздавался громкий стук. Однажды утром миссис Керк замешивала тесто для пудинга и чуть не подскочила — в камине послышались громкие удары. Как была — руки в муке — она кинулась к ограде.

— Миссис Морел, вы стучали?

— Будьте добры, миссис Керк.

Миссис Керк перелезла через ограду и бегом кинулась в дом миссис Морел.

— Что, милая, как вы себя чувствуете? — озабоченно спросила она.

— Пора позвать миссис Бауэр, — сказала миссис Морел.

Миссис Керк вышла во двор и резким, пронзительным голосом закричала:

— Эгги... Эгги!

Зов разнесся из конца в конец Низинного. Наконец выбежала Эгги и была послана за миссис Бауэр, а миссис Керк, махнув рукой на пудинг, осталась возле соседки.

Миссис Морел легла в постель. Миссис Керк позвала Энни и Уильяма к себе обедать. Толстая миссис Бауэр вразвалку ходила по дому и по-хозяйски распоряжалась.

— Порубите холодного мяса хозяину на обед и приготовьте ему яблочный пудинг, — сказала миссис Морел.

— Уж нынче-то может и без пудинга обойтись, — сказала миссис Бауэр.

Обычно Морел не спешил на площадку рудничного двора, чтобы пораньше подняться из шахты. Кое-кто оказывался там еще до четырех, до свистка, означавшего окончание работы; но Морел, чей небогатый забой был теперь милях в полутора от площадки, работал, как правило, до тех пор, пока его напарник не прекращал работу, тогда и он тоже кончал. Однако нынче ему не работалось. Он находился в безопасной выработке и в два часа, при слабом свете свечи, глянул на часы, в половине третьего опять. Он врубался в выступ скалы, который преграждал путь к завтрашнему участку. Садился на корточки или опускался на колени и с силой ударял кайлом о камень — «У-ух... у-ух!»

— Пошабашим, приятель? — крикнул работающий рядом Баркер.

— Пошабашим? Ни в жисть! — проворчал Морел.

И опять взмахнул кайлом. Хоть и устал.

— Нудная работенка, — сказал Баркер.

Но Морел был слишком зол, ему стало невтерпеж и не до разговоров. Изо всех сил он наносил удары, врезался в скалу.

— Да брось, Уолтер, — сказал Баркер. — Обождет до завтра, нечего тебе надрываться.

— Завтра я и пальцем не притронусь к этой сволочной скале, Израиль! — крикнул Морел.

— Не хочешь — не надо, кто другой дорубает, — сказал Израиль.

Но Морел знай ударял кайлом.

— Эй вы... кончай! — прокричали углекопы, уходя из соседнего забоя.

Морел все ударял кайлом.

— Может, еще догонишь меня, — сказал Баркер, уходя.

Когда тот скрылся и Морел остался один, он совсем осатанел. Выступ скалы он так и не одолел. Столько сил потратил сгоряча, что впал

в неистовство. Мокрый от пота, он встал, кинул наземь кайло, напялил куртку, задул свечу, взял лампу и пошел. По главному проходу, покачиваясь, удалялись огни углекопов. Слышался глухой гул многих голосов. То был долгий, тяжкий путь под землей.

Морел присел на площадке рудничного двора, где с плеском падали крупные капли воды. Множество углекопов, шумно переговариваясь, ожидали своей очереди подняться из шахты. Когда обращались к Морелу, он отвечал коротко, неприветливо.

— Дождик идет, приятель, — сказал старик Джайлз, узнавший это от кого-то сверху.

Одно хорошо: в кладовке для ламп Морел хранил свой старый любимый зонтик. Наконец он встал в клеть — и вот он уже наверху. Сдал лампу, взял зонт, который когда-то купил на аукционе за полтора шиллинга. С минуту помедлил у шахты, глядя в поля; все затянуло серой пеленой дождя. Стояли платформы, полные мокрого блестящего угля. Вода стекала по бортам вагонеток по белым буквам «К. У. и Компания». Не обращая внимания на дождь, углекопы серой унылой толпой брели вдоль железной дороги через поля. Морел раскрыл зонт, и приятно было слышать, как барабанит по нему дождь.

По дороге до самого Бествуда тяжело шагали углекопы, вымокшие, серые, грязные, но красные рты не закрывались ни на минуту — не умолкал оживленный разговор. В одной группе шел и Морел, но не говорил ни слова. Шел и досадливо хмурился. Многие заходили в трактиры — к «Принцу Уэльскому» или к «Эллен». Недовольство, владевшее Морелом, удержало его от искушения, и он устало тащился под нависавшими над оградой парка промокшими деревьями, а потом по грязи Гринхиллской дороги.

Миссис Морел лежала в постели, прислушивалась к дождю и к шагам углекопов, идущих из Минтона, к их голосам, к хлопанью калитки, когда они поднимались на приступку и уходили в поле.

— В кладовке за дверью стоит пиво, — сказала она. — Хозяин захочет пить, если не зайдет в трактир.

Но было уже поздно, должно быть, он заглянул по дороге выпить — ведь льет дождь. Что ему за дело до ребенка ли, до нее?

Рождение ребенка всякий раз давалось ей тяжело.

— Кто? — спросила она едва живая.

— Мальчик.

И это ее утешило. Мысль, что она дает жизнь мужчинам, согревала душу. Она взглянула на дитя. Голубоглазый, с густыми белокурыми волосами, до чего ж хорош. Горячая волна любви поднялась в ней, несмотря на все муки. Он лежал рядом с ней в постели.

Ни о чем не подозревая, Морел, усталый и сердитый, брел по садовой дорожке. Он закрыл зонт, поставил его в раковину, потом сунул в кухню тяжелые башмаки. В дверях появилась миссис Бауэр.

— Ну, ей сейчас хуже некуда. Мальчиком разрешилась.

Морел охнул, положил пустую сумку и жестяную фляжку на полку, вернулся в чулан, повесил куртку, потом вышел и опустил на свой стул.

— Выпить найдется? — спросил он.

Повитуха пошла в кладовку. Хлопнула пробка. Неодобрительно пристукнув кружкой, она поставила пиво на стол перед Морелом. Он отхлебнул, перевел дух, утер концом шарфа свои большие усы, еще хлебнул, перевел дух и откинулся на спинку стула. Повитуха не стала больше ничего ему говорить. Поставила перед ним обед и пошла наверх.

— Это хозяин пришел? — спросила миссис Морел.

— Я подала ему обед, — ответила миссис Бауэр.

Морел выложил руки на стол, посидел так, — недовольный, что миссис Бауэр не постелила для него скатерть и поставила не большую мелкую тарелку, а маленькую, потом принялся за еду. Его ничуть не трогало сейчас, что жена больна, что у него появился еще один сын. Слишком он устал; хотелось пообедать, хотелось посидеть, положив руки на стол, и не по душе ему было, что в доме крутится миссис Бауэр. И огонь в очаге не радовал — слишком был мал.

Он поел, посидел еще двадцать минут, потом расшуровал большой огонь в очаге. Потом, как был в одних носках, нехотя пошел наверх. Нелегко сейчас увидеть жену, а он так устал. Лицо у него было черное, в грязных подтеках от пота. Фуфайка теперь высохла, впитав грязь. На шею болтался грязный шерстяной шарф. Так он вошел и остановился в ногах кровати.

— Ну как ты, а? — спросил он.

— Все обойдется, — ответила жена.

— Гм!

Он стоял в растерянности, не зная, что еще сказать. Он так устал, и это беспокойство было ему ни к чему, он совсем не знал, на каком он свете.

— Она сказала... малец, — с запинкой произнес он.

Жена отогнула простыню и показала дитя.

— Благослови его Бог! — пробормотал Морел. И она засмеялась, оттого что сказано это было механически — он пытался изобразить отцовские чувства, которых в ту минуту вовсе не испытывал.

— Теперь уходи, — сказала она.

— Пойду, лапушка, — отвечал он и повернулся к двери.

Отпущенный на свободу, он теперь захотел поцеловать ее, но не осмелился. Ей, пожалуй, тоже хотелось бы этого, но не могла она заставить себя подать ему знак. Она лишь облегченно вздохнула, когда он вышел, оставив за собою слабый запах угольной пыли.

Каждый день миссис Морел навещал приходский священник. Мистер Хитон был молод и очень беден. Жена его умерла первыми родами, и в пасторском доме он жил один. Он получил в Кембридже степень бакалавра гуманитарных наук, был очень робок и никудышный

проповедник. Миссис Морел души в нем не чаяла, и он очень доверял ей. Когда она была здорова, он часами с ней разговаривал. Он и стал крестным отцом малыша.

Иногда священник оставался выпить чаю с миссис Морел. Тогда она пораньше стелила скатерть, доставала свои лучшие чашки с тонким зеленым ободком и надеялась, что Морел вернется не слишком рано; в такие дни она даже была не против, чтоб он посидел в пивной. Ей всегда приходилось готовить два обеда — по ее мнению, детям следовало особенно сытно поесть среди дня, а Морел обедал в пять. И вот, пока она месила тесто для пудинга или чистила картошку, мистер Хитон держал дитя и, не спуская с нее глаз, обсуждал с ней свою ближайшую проповедь. Идеи у него были странные, причудливые, и миссис Морел с присущим ей здравым смыслом возвращала его на землю. Сегодня они обсуждали брак в Кане Галилейской.

— Когда в Кане Иисус превратил воду в вино, это означает, что обычная жизнь, даже кровь вступивших в брак мужа и жены, каковая прежде была бездушной как вода, исполнилась Духа и стала вином, ибо, когда нисходит любовь, весь склад души человека меняется, исполняется Святого духа, и даже самый облик его, можно сказать, меняется.

А миссис Морел слушала и думала: «Ах, бедняга, его молодая жена умерла, вот он и обращает любовь в Святой дух».

Они уже наполовину осушили первую чашку чая, и тут послышался стук скинутых шахтерских башмаков.

— Боже милостивый! — невольно воскликнула миссис Морел.

У священника лицо стало испуганное. Вошел Морел. Злость в нем кипела. Он кивнул, поздоровался с пастырем, а тот встал, хотел обменяться рукопожатием.

— Да нет, — сказал Морел, показывая руку, — видали, какая пятерня! Кому охота пожимать такую руку? Работаете кайлом да лопатой, вот грязь и въелась.

Священник вспыхнул от смущения и опять сел. Миссис Морел поднялась, достала дымящуюся кастрюлю. Морел снял куртку, пододвинул к столу свое кресло и тяжело опустил в него.

— Устали? — спросил священник.

— Устал? А еще бы, — отозвался Морел. — Вам-то невдомек, как-во устать, как я устал.

— Конечно, — согласился священник.

— А вот гляньте сюда, — сказал углекоп, показывая на плечи своей фуфайки. — Сейчас она малость подсохла, а все равно еще мокрая от пота, будто тряпка. Пошупайте.

— Господи! — воскликнула миссис Морел. — Не хочет мистер Хитон шупать твою грязную фуфайку.

Священник опасливо протянул руку.

— А должно, и впрямь не хочет, — сказал Морел. — Но так ли, эдак ли, это все из меня выходит. И всякий день то же, наскрозь мокрая.

Найдется у тебя что выпить, жена, человек ведь из шахты пришел, весь задубел.

— Ты все пиво уже выпил, сам знаешь, — сказала миссис Морел, наливая ему чай.

— А еще достать негде? — И, повернувшись к священнику, продолжал: — В глотке-то пересохло от пыли, ей вся шахта набита, приходит человек домой — не выпить никак нельзя.

— Безусловно, нельзя, — сказал священник.

— А ведь выпить-то редко когда дадут.

— Есть вода... и чай есть, — сказала миссис Морел.

— Вода! Водой глотку не прочистишь.

Он налил себе полную чашку чаю, подул, всосал его весь через свои большие черные усы и вздохнул. Потом опять налил полную чашку и поставил на стол.

— Скатерть испачкаешь! — воскликнула миссис Морел, ставя чашку на тарелку.

— Человек такой приходит усталый, ему не до скатерти, — сказал Морел.

— Очень жаль! — язвительно сказала жена.

В комнате стоял запах мяса, овощей и шахтерской одежды.

Морел наклонился к священнику, густые длинные усы его топорщились, рот казался особенно красным на черном лице.

— Мистер Хитон, — заговорил он, — человек весь день проторчал в черной яме, долбал в забое уголь, и... и это будет подтверже здешней стены...

— Нечего плакаться, — вмешалась миссис Морел.

Когда у мужа появлялся слушатель и он начинал ныть и искать сочувствия, он был ей ненавистен. Уильям, державший малыша на руках, с мальчишеским пылом ненавидел отца за фальшивую чувствительность и за нелепое обхождение с матерью. Энни никогда не любила отца, она просто его избегала.

Священник ушел, и миссис Морел посмотрела на скатерть.

— Ну и грязь! — сказала она.

— А ты что ж думаешь, раз у тебя пастор чай распивает, я, значит, и руки на стол не клади, — рявкнул Морел.

В обоих накопала злость, но жена промолчала. Заплакало дитя, миссис Морел сняла с решетки кастрюлю, нечаянно стукнула Энни по голове, девочка захныкала, и Морел заорал на нее. В разгар скандала Уильям поднял глаза на висящее над камином застекленное изречение и отчетливо прочитал вслух: «Благослови наш дом, Господи!»

И тут миссис Морел, которая пыталась успокоить плачущее дитя, вскочила, кинулась к сыну, отхлестала по щекам, крикнув при этом:

— А ты-то чего ради встречаешь?

И села, и начала смеяться, пока по щекам не потекли слезы; Уильям лягнул табуретку, на которой сидел, а Морел проворчал:

— Не пойму, с чего тебя разбирает.

Однажды вечером, вскоре после того, как у них был пастор, не в силах владеть собой после очередной выходки мужа, миссис Морел взяла Энни и малыша и вышла из дому. Перед тем Морел напудал Уильяму ногой, и мать ввек ему этого не забудет.

Она перешла по овечьему мостику, пересекла край луга и направилась к крикетному полю. Луга, казалось, слились воедино с ярким вечерним светом и тихонько перешептывались с водой, шум которой доносился издали от мельничной запруды. На крикетном поле она села на скамью под черной ольхой и оказалась лицом к лицу с вечером. Точно море света, раскинулось пред нею зеленое крикетное поле, большое, ровное и плотное. Дети играли в голубоватой тени беседки. Высоко в нежно сотканном небе грачи с криком возвращались домой. Длинной дугой спускались они в золотом мареве, с криком сбивались в стаю и, точно черные хлопья, кружились в медленном вихре над темной купой деревьев, встающей посреди пастбища.

Несколько джентльменов упражнялись на поле, миссис Морел слышала удары биты о шар, а то вдруг громкие мужские голоса; потом игроки в белом молча перемещались по зеленому полю, на котором уже сгушались сумерки. В стороне, у фермы, скирды с одной стороны были освещены, с другой смутно синели. Повозка со снопами, казавшаяся совсем маленькой, покачивалась в угасающем желтом свете.

Солнце садилось. В ясные вечера дербиширские холмы рдели, освещенные красным закатом. Миссис Морел смотрела, как солнце скользит вниз в сияющих небесах, и на западе они алеют, словно весь жар перелился туда, а над головой у нее безупречно синий купол. За полем на миг огненно вспыхнули среди темной листвы ягоды рябины. В углу оставленного под паром поля как живые стояли копны, и представилось, будто они кланяются; уж не станет ли ее сын Иосифом? Закатный багрянец розово отражался на востоке. Большие скирды на склоне холма, что еще недавно выступали в слепящем свете, уже остыли.

То была для миссис Морел одна из тех тихих минут, когда мелкие докуки забываются и ничто не заслоняет ей красоту мира, и хватает покоя и силы увидеть себя самое. Порой совсем рядом рассекала воздух ласточка. Порой подходила Энни, приносила в горсти ольховые шишки. Малыш шебуршился на материнских коленях, пытался поймать руками свет.

Миссис Морел поглядела на него. Рождения его она страшилась, точно несчастья, оттого, какое чувство стала испытывать к мужу. И сейчас непривычное чувство вызывало у нее дитя. На сердце такая тяжесть, словно мальчик родился больным или уродом. Но, похоже, он совсем здоров. Вот только как-то странно хмурит брови и странно тяжел его взгляд, будто малыш пытается понять что-то такое, что его мучает. Глядя в темные невеселые глаза мальчика, она ощущала на сердце тяжкий груз.

— Он у вас так глядит... будто думает о чем-то... больно грустный, — как-то сказала миссис Керк.

Мать смотрела на дитя, и вдруг тяжесть растворилась в нестерпимой печали. Она склонилась над ним, и тотчас из самого ее сердца на глаза набегали слезы. Малыш поднял пальчики.

— Маленький мой! — тихонько воскликнула она.

И в этот миг где-то в сокровенной глубине души почувствовала, что и сама она, и ее муж виноваты перед ним.

Малыш смотрел на нее. У него такие же голубые глаза, как и у нее, но взгляд тяжелый, неотступный, точно ему открылось что-то, потрясшее его душу.

Хрупкое дитя лежало у нее на руках. Глубокие голубые глаза, что всегда глядели на нее не мигая, казалось, извлекали на свет божий самые сокровенные ее мысли. Она уже не любит мужа, и не хотела она этого ребенка, и вот он лежит у нее на руках и ухватился за ее сердце. Будто пуповина, соединявшая с нею его беззащитное тельце, до сих пор не порвана. Горячая волна любви к сынишке нахлынула на нее. Она прижала его к лицу, к груди. Всеми силами, всем сердцем воздаст она ему за то, что произвела на свет нелюбимого. Тем сильнее будет любить его теперь, когда он родился, окружит его своей любовью. От этих ясных, знающих глаз ей больно и страшно. Неужели он все о ней знает? Неужели, лежа у нее под сердцем, он вслушивался в нее? Не упрек ли в его взгляде? Боль и страх пронизывали все ее существо.

Опять она увидела красное солнце на кромке холма напротив. И порывисто подняла малыша.

— Смотри! — сказала она. — Смотри, хороший мой!

Почти с облегчением протянула она ребенка к малиновому, беспокойному солнцу. И он поднял кулачок. Потом опять прижала к груди, стыдясь своего порыва возвратить его туда, откуда он появился.

«Если останется в живых, каков-то он вырастет... что из него будет?» — подумала она.

Тревожно ей было.

— Назову его Пол, — вдруг сказала она и сама не знала почему.

Немного погодя она пошла домой. Прозрачная тень укрыла густо-зеленый луг, пригасила свет.

Как она и думала, дома было пусто. Но к десяти Морел вернулся, и хотя бы этот день закончился мирно.

В последнее время Уолтер Морел то и дело раздражался по пустякам. Казалось, работа его изматывала. Дома он ни с кем не разговаривал по-людски. Если огонь в камине горел недостаточно ярко, он выходил из себя; он ворчал из-за обеда; стоило детям расшуметься, он так на них орал, что возмущенная мать еле сдерживалась, а дети начинали его ненавидеть.

В пятницу он к одиннадцати не вернулся домой. Малыш был нездоров, беспокойен, плакал, если его клали в колыбель. Миссис Морел, до смерти замученная и еще не оправившаяся после родов, еле владела собой.

— Хоть бы этот несносный пришел, — устало сказала она про себя.

Малыш наконец уснул у нее на руках. И у нее не хватило сил его уложить.

— Но когда бы он ни вернулся, я слова не скажу. А то выйду из себя. Не стану ничего говорить. Но если он что-нибудь натворит, мне не сдержаться, — прибавила она.

Услышав шаги мужа, она вздохнула, словно ей стало невтерпеж. В отместку ей он изрядно выпил. Он вошел, а она стояла, склонясь над ребенком, не хотела видеть мужа. Но ее точно огнем ожгло, когда, проходя, он покачнулся, задел за кухонный шкафчик, так что посуда задребезжала, и, чтоб не упасть, схватился за ручки кастрюли. Он повесил шапку и куртку, вернулся и пристально и зло смотрел со стороны, как жена сидела, склонясь над ребенком.

— Что ж это, в доме и еды никакой нету? — свысока, будто прислугу, спросил он. Иной раз спяну он подражал манерному городскому выговору. В такие минуты он бывал особенно противен миссис Морел.

— Ты сам знаешь, что в доме есть, — так холодно, что это прозвучало бесстрастно, сказала она.

Он стоял и свирепо смотрел на нее, в лице его не дрогнул ни один мускул.

— Я спросил вежливо и жду вежливого ответа, — манерно произнес он.

— И дождался, — сказала она, все не глядя на него.

Он опять кинул на нее злобный взгляд. И прошел нетвердой походкой. Одной рукой облокотился о стол, другой рывком дернул ящик — хотел взять нож, чтоб отрезать хлеба. Ящик не поддался — оттого, что дернул он вбок. В сердцах он рванул ящик, и тот вылетел, грохнулся на пол, и ложки, вилки, ножи, множество всяких металлических мелочей со звоном и лязгом рассыпались по кирпичному полу. Ребенок вздрогнул, передернулся.

— Ты что делаешь, пьяный дурак, неуклюжий? — крикнула мать.

— А ты сама б достала этот проклятый нож. Встала бы да услужила мужу, как все женщины.

— Услужи тебе... послужи? — крикнула жена. — Жди, как же.

— А я тебя выучу. Будешь как миленькая мне услужать, да-да, будешь услужать...

— Нипочем, мой милый. Скорей послужи бездомной собаке.

— Чего... чего?

Он пытался сунуть ящик на место. При последних словах жены круто обернулся. Лицо багровое, глаза налиты кровью. Он молча, с угрозой глядел на нее в упор.

— Пф! — тотчас презрительно фыркнула она.

Ящик упал, больно резнул по голени, и, не успев подумать, Морел запустил им в жену.

Плоский ящик углом ударил ее в бровь, грянулся в камин. Оглушенная, женщина покачнулася, чуть не упала с кресла-качалки. И нестерпимо тошно ей стало до самой глубины души; она крепко прижала дитя

к груди. Несколько мгновений миновало, и вот она справилась с собой. Малыш жалобно плакал. Левая бровь у матери сильно кровоточила. Голова кружилась, она посмотрела на ребенка, увидела капли крови на белом одеяльце; но он хотя бы остался невредим. Стараясь сохранить равновесие, она повела головой, и кровь потекла ей в глаз.

Уолтер Морел как стоял, так и остался стоять, одной рукой оперлся на стол, лицо у него было озадаченное. Уверившись, что кое-как держится на ногах, он, пошатываясь, подошел к жене, взялся за спинку ее кресла, чуть не опрокинул ее при этом; и, наклонясь над нею и все пошатываясь, сказал озабоченно и удивленно:

— Неужто тебя задело?

Опять его качнуло, того гляди упадет на малыша. Из-за случившегося он еще хуже держался на ногах.

— Уйди, — сказала жена, стараясь сохранить присутствие духа.

Морел икнул.

— Ну-ка... ну-ка я погляжу, — сказал он и опять икнул.

— Уйди! — крикнула она.

— Ну-ка... ну-ка я погляжу, лапушка.

От него разлило спиртным, нетвердая рука бестолково тянула спинку качалки.

— Уйди, — сказала жена и слабо оттолкнула его.

Он стоял, с трудом сохраняя равновесие, оторопело глядел на нее. Она собрала все силы, поднялась, прижала ребенка к плечу. Отчаянным усилием воли, двигаясь будто во сне, прошла к мойке и с минуту промывала глаз холодной водой; но слишком кружилась голова. Боясь упасть в обморок, вся дрожа, она вернулась к качалке. Бессознательно она прижимала к груди дитя.

Морел, обеспокоенный, ухитрился засунуть ящик на место и теперь, на коленях, непослушными руками подбирал рассыпавшиеся ложки.

Ее бровь все кровоточила. Наконец Морел встал и, вытягивая шею, подошел к жене.

— Что ж он тебе сделал, лапушка? — жалобно, униженно спросил он.

— Можешь посмотреть, — ответила она.

Он наклонился вперед, для надежности упершись руками в колени. Вглядываясь, рассматривал рану. Она отстранилась от его лица с черными усищами, отвернулась как могла дальше. Он смотрел на нее, бесстрастную и холодную как камень, с крепко сжатым ртом, и худо ему было от слабости своей и безнадежности. Видел, как капля крови падает на тоненькие, блестящие волосы ребенка, и мрачно отворачивался. И опять заворуженно следил, как темная тяжелая капля висит в блестящем облаке и срывается с паутинки. Еще одна капля упала. Пожалуй, вся головенка намокнет. Он следил заворуженный, чувствуя, как просачивается кровь, и под конец мужество ему изменило.

— А каково ребенку? — только и сказала ему жена. Но от ее тихого напряженного голоса он еще ниже опустил голову. Она смягчилась. — Достань мне из среднего ящика вату, — сказала она.

Спотыкаясь, Морел послушно пошел и принес вату, жена подержала ее перед огнем и приложила ко лбу, а дитя так и лежало у нее на коленях.

— Теперь твой чистый шарф.

Он опять пошарил в ящике, порылся и принес узкий красный шарф. Она взяла его, дрожащими пальцами стала обвязывать голову.

— Дай я завяжу, — униженно сказал он.

— Сама справлюсь, — отвечала она. Все сделала и пошла наверх, наказав ему поворошить угли, чтоб не погас огонь, и запереть дверь.

Утром миссис Морел сказала:

— Я ударилась о шеколду в угольном сарае, доставала кочергу, а свеча погасла.

Двое ее детишек смотрели на нее большими испуганными глазами. Они ничего не сказали, но их беспомощно приоткрытые губы говорили о неосознанной трагедии потрясенных детских душ.

В этот день Морел пролежал в постели до самого обеда. Он не думал о том, что натворил накануне вечером. Едва ли он вообще о чем-то думал, уж во всяком случае не об этом. Будто угрюмый пес, лежал он и маялся. Больней всего он ударил самого себя и самую глубокую рану нанес себе — ведь он никогда ни слова ей не скажет, не выдаст своего горя. Он попытался увильнуть от случившегося. Она сама виновата, сказал он себе. Однако ничто не могло заглушить внутренний голос, который казнил его, ржавчиной въедался в душу, и заглушить его могла только выпивка.

Ему казалось, не хватает ему пороку на то, чтобы встать с постели, или сказать слово, или просто шевельнуться, он только и мог лежать бревно бревном. Да еще отчаянно трещала голова. День был субботний. К полудню Морел поднялся, взял в кладовке какой-то еды, сжевал, не поднимая головы, потом надел башмаки и ушел, а в три вернулся чуть под мухой, успокоенный, и тотчас опять залег в постель. В шесть вечера встал, попил чаю и сразу ушел.

В воскресенье все повторилось: до полудня лежал в постели, до половины третьего засиделся в «Гербе Палмерстона», дома пообедал и опять в постель; и все молчком. В четыре, когда миссис Морел поднялась в спальню, чтобы надеть воскресное платье, он крепко спал. Она пожалела бы его, скажи он хоть два слова — «Прости, жена». Но нет, он уверял себя, что это она во всем виновата. И таким образом сам себя наказал. Она не стала с ним заговаривать. В чувствах своих они зашли в тупик, но жена была сильнее.

Семья села пить чай. Все вместе к столу собирались только по воскресеньям.

— А отец не встанет? — спросил Уильям.

— Пускай лежит, — сказала мать.

Ощущение несчастья нависло над всем домом. Дети вдыхали отравленный воздух, и безотрадно им было. Они приуныли, не знали, что делать, во что играть.

Как только Морел проснулся, он встал с постели. Это было свойственно ему всю жизнь. Ему не терпелось что-то делать. Нудное безделье два утра подряд душило его.

Когда он спустился, было около шести. На этот раз он вошел смело, от болезненной уязвимости и следа не осталось. Его уже не смущало, что семья думает и чувствует.

Для чая все стояло на столе. Уильям читал вслух «Детский альманах», Энни слушала и без конца спрашивала «почему?». Едва дети заслышали тяжелые даже в одних носках шаги отца, они смолкли и, когда он вошел, съезжились. А ведь он всегда был к ним снисходителен.

Грохнув стулом, он в одиночестве сел за стол. Ел и пил нарочито шумно. Никто с ним не заговаривал. Когда он вошел, жизнь семьи затаилась, ушла в себя, стихла. Но отчуждение его уже не смущало.

Едва покончив с чаем, он поспешно встал, готовый уйти. Именно эта поспешность, стремление вырваться из дома сильней всего досаждали миссис Морел. Она слышала, как он со вкусом плещется в холодной воде, как торопливо скребет по тазу стальная расческа, когда он мочит волосы, и с отвращением закрывала глаза. Он наклонился, стал завязывать шнурки, и в его движениях было такое животное удовольствие, что это еще больше отдалило его от всего сдержанного, настоящего семейства. Он всегда бежал сражений с самим собой. Даже в глубине души неизменно оправдывал себя. «Не скажи она то-то и то-то, и ничего бы такого не случилось, — говорил он. — Сама лезла на рожон». Пока он собирался, дети напряженно застыли. И вздохнули с облегчением, когда он ушел.

Морел рад был закрыть за собой дверь. Дождило. Тем уютней будет в «Гербе Палмерстона». В предвкушении он торопливо зашагал по вечерней улице. Мокрые шиферные крыши Низинного казались черными. Дороги, и всегда темные от угольной пыли, сейчас покрывала черная грязь. Он торопился. Из окон пивной клубился пар. Мокрые ноги шлепали по проходу. Но было тепло, хоть и душно, стоял гул голосов, пахло пивом и куревом.

— Чего пить будешь, Уолтер? — крикнул кто-то, едва Морел показался в дверях.

— Э, Джим, дружище, ты откуда взялся?

Мужчины освободили ему место, тепло приняли в свою компанию. Он был рад. Через минуту-другую отпустило чувство ответственности, стыд, тревога, и вот он вполне готов весело провести вечерок.

В среду Морел оказался без гроша. Жены он страшился. Обидев ее, он теперь испытывал к ней неприязнь. В этот вечер он не знал, куда себя девать, — в пивную не пойдешь, не с чем, уже и так изрядно задолжал. И вот пока жена сидела в палисаднике с малышом, он стал шарить в верхнем ящике кухонного шкафа, где она держала кошелек, нашел его, раскрыл. Внутри полкроны, две монетки по полпенса да

шестипенсовик. Он взял шестипенсовик, аккуратно положил кошелек на место и вышел из дому.

Назавтра миссис Морел хотела заплатить зеленщику, открыла кошелек, чтоб взять шестипенсовик, и сердце у нее упало. Потом она села и подумала: «А был ли там шестипенсовик? Может, я его потратила? Или оставила где-нибудь еще?»

Она была совершенно выбита из колеи. Обыскала весь дом. И чем больше думала, тем ясней становилось, что деньги взял муж. У нее только и было денег, что в кошельке. Невыносимо, что он мог взять их тайком. Так уже бывало дважды. В первый раз она не подумала, что он виноват в пропаже, но в конце недели он подложил недостающий шиллинг в кошелек. И тогда она поняла, что деньги брал он. Во второй раз он их не вернул.

На сей раз ее терпение лопнуло. Когда муж пообедал — а пришел он домой рано, — она сказала ему холодно:

— Ты вчера вечером взял у меня из кошелька шестипенсовик?

— Я?! — Он изобразил оскорбленную невинность. — Ничего я не брал. Сроду не видал твоего кошелька.

Но ясно было — он лжет.

— Да ты ж знаешь, что взял, — негромко сказала она.

— Говорят тебе, не брал! — заорал Морел. — Опять ко мне цепляешься, а? Нет, хватит с меня.

— Только я отвернусь, ты крадешь у меня из кошелька шестипенсовик.

— Я тебе этого не спущу, — сказал он, вне себя отшвырнув стул. Торопливо пошел умыться, потом решительно отправился наверх. Скоро он спустился, уже одетый, с большим узлом в огромном синем клетчатом платке.

— Жди теперь, когда меня увидишь, — сказал он.

— Скорей, чем мне захочется, — отвечала она; и тут Морел со своим узлом затопал вон из дома. Она сидела и не могла унять дрожь, но сердце до краев было полно презренья. Что делать, если он уйдет на какую-нибудь другую шахту, станет там работать и свяжется с другой женщиной? Но нет, где ему, слишком хорошо она его знает. И уж в этом она вполне уверена. Но все равно тревога терзала душу.

— Где наш папка? — спросил Уильям, придя из школы.

— Он сказал, что от нас убежал, — отвечала мать.

— Куда?

— Да кто ж его знает. Увязал свои пожитки в синий платок и сказал, что не вернется.

— Что ж мы станем делать? — вскрикнул мальчик.

— Да не бойся, никуда он не денется.

— А вдруг не вернется? — со слезами спросила Энни.

И вместе с Уильямом она забилась в угол дивана, они сидели там и плакали. А миссис Морел рассмеялась.

ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Глава первая

СЕСТРЫ

Однажды утром Урсула и Гудрун Брэнгуэн сидели в эркере у окна родительского дома в Бельдове, работали и болтали. Урсула вышивала, покрывая — стежок за стежком — яркий узор, Гудрун рисовала, держа картон на коленях. Они часто замолкали, возобновляя разговор, только когда кому-то из них хотелось поделиться с другой пришедшей в голову мыслью.

— Урсула, ты действительно не хочешь замуж? — спросила сестру Гудрун.

Урсула отложила рукоделье и подняла голову. Ее лицо было спокойным и сосредоточенным.

— Не знаю, — ответила она. — Все зависит от того, что ты под этим подразумеваешь.

Такой ответ слегка ошарашил Гудрун. Некоторое время она недоуменно смотрела на сестру.

— Мне кажется, — проговорила она не без иронии, — обычно под этим подразумевают вполне определенную вещь. И разве ты не считаешь, что тогда, — тут ее лицо несколько омрачилось, — ты будешь в лучшем положении, чем сейчас.

Тень пробежала по лицу Урсулы.

— Возможно, — ответила она, — хотя не уверена.

Гудрун опять помолчала, ощущая некоторое раздражение. Ей хотелось определенности.

— Значит, ты не думаешь, что каждой женщине нужен опыт замужества? — спросила она.

— По-твоему, замужество — такой уж ценный опыт? — задала встречный вопрос Урсула.

— В каком-то смысле брак — всегда опыт, — уверенно отозвалась Гудрун. — Пусть даже отрицательный.

— Совсем не обязательно, — возразила Урсула. — Скорее уж его конец.

Гудрун застыла на месте, внимательно обдумывая слова сестры.

— Да, тут есть над чем подумать, — сказала она. Разговор исчерпал себя. Гудрун почти сердито взяла в руки ластик и принялась стирать что-то в рисунке. Урсула сосредоточенно вышивала.

— Ты отказалась бы от хорошей партии? — спросила Гудрун.

— Уже от нескольких отказалась, — ответила Урсула.

— Вот как! — Гудрун густо покраснела. — И среди них был кто-нибудь стоящий?

— Был один чудесный человек, доход — тысяча в год. Он мне ужасно нравился, — сказала Урсула.

— Что ты говоришь! И у тебя не возникло искушения?

— Только чисто абстрактное, — ответила Урсула. — Когда доходит до дела, искушения как не бывало — да будь оно, я бы пулей выскочила замуж. Напротив, возникло искушение не выходить!

Лица сестер неожиданно озарились лукавством.

— Разве не удивительно, — воскликнула Гудрун, — что это искушение очень сильное? — Сестры рассмеялись, глядя друг на друга, но в глубине их душ гнезился страх.

Последовало долгое молчание, во время которого Урсула усердно вышивала, а Гудрун работала над рисунком. Сестры были уже взрослыми: Урсуле исполнилось 26, Гудрун — 25, однако у обеих был тот особый девический облик, который присущ современным девушкам — скорее сестрам Артемиды, чем Гебы¹. Гудрун была наделена исключительной красотой, спокойной, безмятежной: нежная кожа, плавные изгибы тела. На ней было темно-синее шелковое платье, отделанное у шеи и на рукавах синим и зеленым кружевом, и чулки изумрудного цвета. Ее самоуверенный и недоверчивый вид резко контрастировал с обликом сестры, излучающим трепетную надежду. Обыватели, которых пугало исключительное хладнокровие Гудрун, отсутствие всяческой манерности, говорили о ней: модная штучка. Она недавно вернулась из Лондона, где провела несколько лет — училась в художественной школе и вращалась в артистических кругах.

— Я жду появления мужчины в своей жизни, — сказала Гудрун; она прикусила нижнюю губу, соорудив при этом странную гримасу — лукавая усмешка с примесью страдания. Урсуле стало не по себе.

— Так ты вернулась в надежде найти его здесь? — рассмеялась она.

— Нет, конечно. Никаких поисков. Я и пальцем не пошевелила, — отрезала Гудрун. — Но если на моем пути встретится некий в высшей степени привлекательный индивидуум, и к тому же хорошо обеспеченный, ну, тогда... — Иронически оборвав фразу, она бросила на Урсулу испытующий взгляд, как бы проверяя ее реакцию. — Тебе не становится скучно? — спросила она сестру. — Неужели ты не замечаешь, что твои планы не претворяются в жизнь? Ничего не осуществляется! Все гибнет в зародыше.

— Что гибнет в зародыше? — спросила Урсула.

¹ Артемида — в древнегреческой мифологии богиня-охотница, дочь Зевса и Лето; традиционно изображалась в облике юной девушки с колчаном со стрелами за спиной; Геба — богиня юности у древних греков, дочь Зевса и Геры, отданная в жены Гераклу после вознесения последнего на Олимп; в скульптуре и живописи воплощалась в образе цветущей молодой женщины.

— Да все, ты сама, и все вокруг.

Воцарилось молчание, во время которого перед каждой из сестер смутно замаячила ее судьба.

— Это пугает, — согласилась Урсула. Опять последовала пауза. — И ты надеешься изменить жизнь всего лишь с помощью замужества?

— Похоже, это неизбежный очередной шаг, — ответила Гудрун.

Урсула обдумывала ее слова с горьким чувством. Она вот уже несколько лет работала учительницей в средней школе Уилли-Грин.

— Понимаю, — сказала она. — Если размышлять абстрактно, так может показаться. Но только представь себе, представь любого мужчину из тех, кого ты знаешь, и вообрази, что он будет каждый вечер приходить домой, говорить «привет» и целовать тебя...

Возникла неловкая пауза.

— Да, — проговорила Гудрун сдавленным голосом. — Это невыносимо. Ни с одним мужчиной такого не выдержишь.

— Конечно, есть еще дети... — прибавила с сомнением в голосе Урсула.

Лицо Гудрун ожесточилось.

— Ты действительно хочешь иметь детей, Урсула? — холодно спросила она.

Урсула изумленно и озадаченно взглянула на сестру.

— От этого не уйти, — ответила она.

— Но ты сама этого хочешь? — настаивала Гудрун. — Лично меня мысль о детях вовсе не греет.

Лицо Гудрун, лишненное всякого выражения, казалось маской. Урсула нахмурила брови.

— Возможно, это не подлинное желание, — неуверенно произнесла она. — Возможно, оно только на поверхности, а в глубине души его нет.

Гудрун посуровела. Ей не хотелось углубляться в эту проблему.

— Когда подумаешь о чужих детях... — продолжила Урсула.

Гудрун взглянула на сестру — почти враждебно.

— Вот именно, — сказала она, чтобы закрыть тему.

Сестры продолжали работать в полном молчании.

В Урсуле ощущалось постоянное внутреннее горение — она обуздывала его и подавляла. Урсула давно жила самостоятельно, сама по себе, работала изо дня в день и много размышляла, стараясь быть хозяйкой своей жизни, осмыслить происходящее. Она не жила полной жизнью, но подспудно, втайне, что-то назревало. Если б только удалось разорвать последнюю оболочку! Она старалась вырваться наружу, как ребенок из материнского чрева, но ей это не удавалось — пока. Однако у Урсулы было странное предвидение, предчувствие того, что с ней случится нечто необыкновенное.

Она отложила рукоделье и посмотрела на сестру, которую считала красавицей, абсолютной красавицей; она любовалась ее нежной бар-

хатистой кожей, сочностью красок, изяществом линий. В манерах Гудрун была неподражаемая игривость, пикантная ироничность в сочетании со сдержанностью, почти с равнодушием. Урсула восхищалась ей от всей души.

— Почему ты вернулась домой, Рун? — спросила она.

Гудрун чувствовала ее восхищение. Она откинулась на стуле и посмотрела на Урсулу из-под длинных, красиво изогнутых ресниц.

— Почему я вернулась, Урсула? — повторила она. — Я тысячу раз задавала себе этот вопрос.

— Так ты не знаешь?

— Думаю, знаю. Похоже, мое возвращение домой было просто *reuler pour mieux sauter*¹.

И она посмотрела на Урсулу значительным взглядом посвященного человека.

— Понимаю, — воскликнула Урсула, пораженная и сбитая с толку; было видно, что на самом деле она мало чего понимает. — Прыгнуть — но куда?

— Не важно, — ответила с царственным величием Гудрун. — Если прыгаешь, то где-нибудь обязательно приземлишься.

— Но разве это не рискованно? — спросила Урсула.

На лице Гудрун заиграла ироническая усмешка.

— Ах, — произнесла она со смехом. — Это всего лишь слова! — И Гудрун вновь оборвала разговор. Однако Урсула продолжала размышлять.

— А как тебе в родном доме? — задала она новый вопрос.

Прежде чем ответить, Гудрун некоторое время молчала. Затем спокойным и уверенным голосом произнесла:

— Я ощущаю себя чужой.

— А что ты думаешь об отце?

Гудрун взглянула на Урсулу с возмущением, словно ее приперли к стене.

— Я не думаю о нем, стараюсь не думать, — ответила она холодно.

— Понятно, — неуверенно отозвалась Урсула, и на этот раз разговор сестер действительно закончился. Они оказались перед пустотой, на краю пугающей бездны и словно заглянули в нее.

Какое-то время сестры продолжали молча работать. Щеки Гудрун зарозовели от подавляемых эмоций. Было неприятно сознавать, что пробудились прежние чувства.

— Может, стоит пойти взглянуть на свадьбу? — произнесла она нарочито небрежным тоном.

— Конечно! — слишком поспешно поддержала ее Урсула. Отбросив рукоделье, она вскочила с места, словно желая от чего-то уйти, и таким образом невольно подчеркнула напряженность ситуации. Гудрун непроизвольно содрогнулась.

¹ Отступить для прыжка (фр.). — Здесь и далее примеч. пер.

Поднимаясь наверх, Урсула остро ощущала удушающую атмосферу родительского дома, она чувствовала отвращение к этому жалкому месту, где ей знаком каждый угол; сила неприязни к дому, обстановке, ко всей атмосфере и условиям этой допотопной жизни испугала ее. Собственные чувства страшили.

Вскоре обе молодые женщины уже быстро шагали по главной магистрали Бельдовера — широкой улице, где магазины соседствовали с жилыми домами — чудовищными, бесформенными постройками, в которых жили далеко не бедные люди, Гудрун, еще не отошедшую от прежней жизни в Челси и Суссексе, передергивало от этой беспорядочной и уродливой застройки, типичной для шахтерского городка в Центральной Англии. Но она продолжала идти по длинной, унылой и пыльной улице — своеобразной гамме однообразия и ничтожества. Любой, кто хотел, мог пялиться на нее, и это было мучительно. Странно все-таки, что она решила вернуться сюда, испытать на себе сполна воздействие удушающего унылого уродства. Почему ей захотелось подвергнуть себя такому испытанию? Неужели ей все еще необходимо выносить нестерпимые пытки, общаясь с неприятными пустыми людишками и созерцая эти обезображенные места? Она ощущала себя мушкой, запутавшейся в паутине. Отвращение подступало к горлу.

Свернув с главной улицы, они миновали темный участок общественного огорода, где бесстыдно торчали почерневшие капустные кочерыжки. И никому не было стыдно. Никому не было стыдно за все это.

— Кажется, что мы в преисподней. Шахтеры докопались до нее, и вот она на поверхности. Урсула, это поразительно, действительно поразительно, просто другой мир. Люди здесь — гули, и все вокруг призрачно. Отвратительное, искаженное подобие настоящего мира, все осквернено, все омерзительно. Кажется, что сходишь с ума.

Сестры шли по затоптанной тропе через грязный пустырь. Слева открывался вид на раскинувшуюся вдали долину с шахтами и на холмы за ней, засеянные пшеницей или поросшие лесом, — на расстоянии они смутно темнели, словно под траурной вуалью. Сизый и черный дым столбами уносился ввысь — таинственное зрелище в сумерки. Ближе, по эту сторону долины, тянулись длинные ряды домов, теснясь к извилистому склону. Крыши этих домов, сложенных из темно-красного ломкого кирпича, были покрыты шифером. Тропу, по которой шли сестры, совсем черную, истоптанную шахтерами, проходившими по ней утром и вечером, отделяла от пустыря железная ограда; турникет, через который снова попадаешь на улицу, был до блеска отполирован шахтерскими ладонями. Теперь девушки шли мимо бедных лачуг. Женщины, сложив руки на фартуках из грубой материи, стояли неподалеку от своих жилищ и болтали с соседками; они прово-

жали сестер Брэнгуэн долгими, пристальными взглядами аборигенок, а дети кричали им вслед бранные слова.

Гудрун шла как во сне. Если такое можно назвать жизнью, если эти существа — тоже люди, ведущие полноценное существование, так что же тогда ее собственный мир, такой отличный от этого? Она помнила о своих чулках цвета травы, большой велюровой шляпе того же оттенка, мягком, свободного покроя пиджаке насыщенного синего цвета. Ей казалось, что она ступает по воздуху, — такой неустойчивой она себя чувствовала; сердце ее сжималось от сознания, что она в любой момент может рухнуть на землю. Страх охватил ее.

Она вцепилась в Урсулу, которая долго жила здесь и потому привыкла к этому мрачному, извечно существующему, враждебному миру. Но сердце Гудрун продолжало кричать, как под пыткой: «Хочу назад! Хочу уехать! Не хочу ничего об этом знать! Не хочу знать, что такое существует!» Однако надо было продолжать идти вперед.

Урсула почувствовала ее состояние.

— Тебе все отвратительно? — спросила она.

— Мне не по себе, — заикаясь, произнесла Гудрун.

— Ты здесь надолго не удержишься, — уверенно сказала Урсула.

Гудрун мысленно ухватилась за эту перспективу, что несколько облегчило ей путь.

Они миновали шахтерский поселок и, перевалив через холм, вступили в более чистый район, неподалеку от Уилли-Грин. Но даже здесь над полями и лесистыми холмами висело что-то вроде копоти; оно, казалось, присутствует в самом воздухе. Стоял прохладный весенний день с редкими проблесками солнца. По низу живых изгородей и в садиках коттеджей Уилли-Грин распустились желтые цветки чистотела, опушились листвой кусты смородины, на свисающем с каменных стен сероватом бурачке белели крошечные цветочки.

Свернув, сестры пошли по большой дороге, проложенной в низине меж холмами; она вела к церкви. У дальнего изгиба дороги, в тени деревьев, стояла небольшая группа людей, ожидавших начала церемонии бракосочетания. Дочь Томаса Крича, самого крупного шахтовладельца региона, выходила замуж за морского офицера.

— Давай вернемся, — попросила сестру Гудрун, уже поворачивая назад. — Там эти люди.

Она колебалась, не зная, как поступить.

— Не обращай на них внимания, — посоветовала Урсула. — Они безобидные. И меня знают. Не надо их бояться.

— Нам обязательно надо идти мимо них? — спросила Гудрун.

— Говорю тебе, они не опасны, — ответила Урсула, продолжая двигаться вперед.

Сестры вместе приблизились к группе простолюдинов, — те исподлобья глазели на них. В основном там были женщины, жены шах-

теров; пришли самые любопытные. У всех настороженные лица людей из низов.

Внутренне напрягшись, сестры решительно зашагали к церкви. Женщины слегка расступились, пропуская их, но сделали это с явной неохотой. Сестры молча прошли под каменными сводами ворот и поднялись по ступеням, покрытым красным ковром. За ними внимательно следил полицейский.

— Почем брала чулочки? — раздался голос за спиной Гудрун. Внезапно острая вспышка гнева пронзила ее, свирепого, убийственного гнева. Ей захотелось уничтожить всех этих людей, смести с лица земли, очистить от них мир. Сознание, что она должна на их глазах идти по красному ковру через церковный двор, было для нее невыносимо.

— Я не хочу в церковь, — заявила Гудрун так решительно, что Урсула немедленно остановилась и свернула на дорожку, которая вела на территорию школы.

Через зияющий проход в кустарнике они выбрались из церковного двора, Урсула присела отдохнуть на низкую каменную ограду в тени лаврового кустарника. За ее спиной мирно возвышалось большое красное здание школы с распахнутыми в честь праздника окнами. А впереди, за кустарником, виднелись светлая крыша и шпиль старой церкви. Густая зелень скрывала сестер от посторонних взглядов.

Гудрун сидела в полном молчании. Губы плотно сжаты, лицо повернуто в сторону. Она горько сожалела о том, что вернулась сюда. Глядя на нее, Урсула подумала, что раскрасневшаяся от негодования сестра стала еще красивее. Однако в ее присутствии Урсула чувствовала себя скованно, сестра ее утомляла. Урсуле хотелось остаться одной, освободиться от того напряжения и чувства несвободы, что возникали у нее в обществе Гудрун.

— Мы что, останемся здесь? — спросила Гудрун.

— Я только хотела немного отдохнуть, — сказала Урсула, вставая. Ее слова прозвучали как оправдание. — Мы можем постоять у площадки для файвза¹ — оттуда все будет видно.

В этот момент солнце ярко осветило церковный двор; в воздухе неумовимо присутствовал запах, сопутствующий весеннему пробуждению природы — возможно, то благоухали фиалки на могилах. Кое-где проклюнулись белые маргаритки — чистенькие, как ангелочки. Кроваво краснели еще не развернувшиеся листья бука.

Ровно к одиннадцати часам стали подъезжать экипажи. Толпа у ворот возбужденно зашевелилась, встречая любопытными взглядами каждую карету и выходящих гостей; они поднимались по ступеням и шли по красной ковровой дорожке в церковь. Солнце ярко светило, все были веселы и приятно возбуждены.

Гудрун внимательно рассматривала гостей — с любопытством, но беспристрастно. Каждого оценивала в целом — как персонажа из кни-

¹ Игра, наподобие ручного мяча, для двух или четырех игроков.

ги, или типаж с портрета, или марионетку из кукольного театра — законченные творения. Ей нравилось угадывать характерные черты этих людей, видеть их такими, как они есть, помещать в соответствующее окружение, и пока они проходили перед ней по дорожке, она успевала сложить о них определенное мнение. Теперь она их знала, они были прочитаны, запечатаны и отштемпелеваны, став для нее совершенно неинтересными. Пока не появились сами Кричи, все было ясно, и понятно. Однако с их приездом интерес Гудрун подогрелся. Кричей не так просто раскусить.

Первой приехала мать, миссис Крич, в сопровождении старшего сына Джеральда. Несмотря на очевидные старания придать ее облику в этот торжественный день благообразный вид, выглядела она неопытно и эксцентрично. Бледное с желтизной лицо, чистая тонкая кожа, заметная сутулость, красивые, запоминающиеся черты лица, взгляд напряженный, невидящий, хищный. Бесцветные волосы не были тщательно убраны, отдельные пряди выбивались из-под синей шелковой шляпы, падая на мешковатый темно-синий шелковый жакет. Она выглядела как женщина, страдающая мономанией, чуть ли не клептоманкой, но с дьявольской гордыней.

С ней был сын, загорелый блондин, выше среднего роста, прекрасно сложенный и подчеркнуто хорошо одетый. Некая необычность, сдержанность, окружавшая его особая аура говорили, что он слеплен не из того теста, что все остальные. Гудрун сразу обратила на него внимание. Нечто нордическое в его облике завораживало ее. Чистая кожа северянина, белокурые волосы отливали тем блеском, который, проходя сквозь ледяные кристаллы, рождает солнечный свет. Казалось, его только что создали и грязь жизни еще не коснулась его, он был чист, как арктический снег. На вид ему было лет тридцать, может, больше. Эта сияющая красота, мужественность, делающая его похожим на молодого, добродушного, весело скалящего зубы волка, не могли скрыть от Гудрун характерную, таящую недоброе скованность в осанке — она говорила о необузданном нраве. «Его тотем — волк, — сказала она себе. — А его мать — старая, неприрученная волчица». Эта мысль ее взволновала, она испытала такое чувство, будто сделала важное открытие, которое не смог бы совершить больше никто на земле. Гудрун оказалась вдруг во власти неведомых прежде ощущений, ее сотрясали дикие, яростные эмоции. «Господи! — мысленно воскликнула она. — Что же это такое?» И через мгновение уверенно пообещала себе: «Я узнаю этого мужчину ближе». Ей мучительно захотелось увидеть его снова: надо убедиться, что она не ошиблась, не обманулась и действительно испытала при виде его странные, сильные эмоции и уверенность, что знает сущность этого человека, как бы мгновенно прозрев ее. «Действительно ли я предназначена для него, и действительно ли только нас двоих окутывает бледно-золотистый арктический свет?» — спрашивала себя Гудрун. Ей трудно было в это поверить, и

она пребывала в замешательстве, толком не замечая, что происходит на церковном дворе.

Подружки невесты уже приехали, а жениха все не было. Не случилось ли чего, что может помешать церемонии, подумала Урсула. Она так разволновалась, будто это касалось лично ее. Прибыли и главные подружки невесты. Урсула смотрела, как они поднимаются по ступенькам. Она знала одну из них — высокую, величавую, как бы нехотя идущую женщину с копной пышных белокурых волос над бледным удлинненным лицом. Гермиона Роддайс была другом семьи Кричей. Сейчас она шла по дорожке с высоко поднятой головой, на которой покачивалась огромная плоская шляпа из бледно-желтого бархата, украшенная настоящими страусиными перьями серого цвета. Гермиона двигалась как бы в забытьи, ее длинное бледное лицо было обращено ввысь, словно она не хотела видеть этот мир. Она считалась очень богатой женщиной. Платье на ней было из тонкого бледно-желтого шелковистого бархата, в руках она держала букет из небольших розовых цикламенов. Туфли и чулки были коричневато-серого оттенка в тон перьям на шляпе, волосы густые и пышные, а походка, при которой бедра пребывали неподвижными, оставляла странное впечатление, словно женщина двигалась против своей воли. Гермиона производила сильное впечатление своим изысканным туалетом в бледно-желтых и коричневато-розовых тонах, но в ее облике было нечто мрачное, почти отталкивающее. Простолюдинки, потрясенные и раздраженные, молчали, когда она проходила мимо, им хотелось отпустить ей вслед какое-нибудь язвительное словечко, но они словно оцепнели. Устремленное ввысь, удлинненное бледное лицо в духе Россетти¹ наводило на мысль, что она, возможно, находится под воздействием наркотиков и во мраке ее сознания копошатся странные мысли, от которых не уйти.

Урсула, едва знакомая с Гермионой, как зачарованная, смотрела на нее. В центральных графствах та слыла самой необыкновенной женщиной. Ее отец, баронет из Дербишира, был человеком старой закалки — в отличие от нее, современной интеллектуалки с обостренным самосознанием. Гермиона страстно увлекалась реформированием, всей душой была предана общественному делу. Однако она слишком любила мужчин, и ее вполне удовлетворял созданный ими мир.

Ее связывали интеллектуальные и дружеские отношения со многими талантливыми мужчинами. Урсула была знакома только с одним из них — Рупертом Беркином, инспектором школ графства. Гудрун же встречала и других, в Лондоне. Вращаясь с друзьями-художниками в самых разных социальных кругах, Гудрун познакомилась со многими известными людьми. Она дважды встречалась с Гермионой, но они не понравились друг другу. Странно было увидеть ее вновь здесь, в глубинке, где их социальный статус так разнился, после того как они об-

¹ Россетти, Данте Габриел (1828–1882) — английский живописец и поэт.

щались на равных в домах столичных знакомых. Гудрун пользовалась там большим успехом, среди ее друзей были и аристократы, интересующиеся искусством.

Гермиона знала, что она изысканно одета, знала она и то, что в социальном отношении среди людей, которых она может встретить в Уилли-Грин, никто ее не превзойдет. С ней считались в культурных и интеллектуальных кругах. Она была Kulturträger¹, создавала хорошую среду для рождения идей. Гермиона поддерживала все, что было передового в общественной жизни, в умонастроениях. Она всегда выступала в первых рядах. Никто не мог заставить ее замолчать или ее высмеять, потому что она находилась на самой вершине, противники же занимали позицию ниже — по положению, по богатству или по месту в интеллектуальной, прогрессивной среде. Следовательно, она была неуязвима. Всю свою жизнь она стремилась к тому, чтобы стать неуязвимой, недоступной, неуловимой для мирского суда.

И все же душа ее страдала на публике. Даже сейчас, идя по дорожке в церковь и не сомневаясь, что она во всех отношениях выше любой критики, а ее внешний вид безупречен и соответствует лучшим образцам, Гермиона, несмотря на всю свою гордость и показную самоуверенность, мучительно страдала, боясь, что ее могут оскорбить, высмеять или унижить. Она постоянно ощущала себя незащищенной, в ее броне была незаметная для других трещина. Гермиона сама не понимала, в чем тут дело. Похоже, в ней отсутствовало крепкое, здоровое начало, естественная самодостаточность — на этом месте была жуткая пустота, нехватка жизненных сил.

И она хотела, чтобы кто-то заполнил эту пустоту, заполнил навсегда. Она мечтала, чтобы этим человеком стал Руперт Беркин. Когда он был рядом, она ощущала себя полноценной, самодостаточной, цельной, в остальное же время вела существование на песке, у края пропасти, и, несмотря на все ее тщеславие и самоуверенность, любая служанка с сильным характером могла столкнуть ее в эту бездонную пропасть — собственную ущербность — одним лишь намеком на насмешку или презрение. Поэтому несчастная, страдающая женщина пыталась найти защиту в эстетике, культуре, различных мировоззрениях и бескорыстных поступках. Но ужасная пропасть все же продолжала существовать.

Если бы Беркин вступил с ней в тесный и прочный союз, она пребывала бы в безопасности на протяжении всего бурного жизненного плавания. Он сделал бы ее сильной и победоносной, она не уступила бы и ангелам небесным. Если бы только он этого захотел! Ее мучил страх и дурные предчувствия. Она следила за тем, чтобы быть постоянно красивой, такой красивой и надежной, чтобы у него не оставалось никаких сомнений на ее счет. Но чувство ущербности ее не покидало.

¹ Носитель культуры (*нем.*).

Он тоже был не подарок. Отталкивал ее, всегда отталкивал. Чем больше она старалась стать ему ближе, тем яростнее он сопротивлялся. Они не один год были любовниками. Ах, как утомительны, как болезненны были их отношения, как она от них устала. Однако по-прежнему верила, что ей удастся с ним сладить. Она знала, что он хочет ее бросить. Знала, что он намерен окончательно с ней порвать, стать свободным. И все же продолжала верить в свою способность удержать его, верила в свое высшее знание. Его познания тоже были достаточно высокими — уж она-то могла определить истинную ценность человека. Да, союз с ним был ей необходим.

И этот союз, который для него был не менее важен, чем для нее, Руперт собирался отвергнуть с детским легкомыслием. Как капризный ребенок, он хотел разорвать связывавшие их священные узы.

Руперт не может не присутствовать на свадьбе: ведь он шафер жениха. И сейчас стоит в церкви, дожидаясь начала церемонии. Он знает, что она тоже будет здесь. Перед входом в церковь Гермiona не могла унять дрожь волнения и желанья. Он там и, значит, увидит, как прекрасен ее наряд, и поймет, что она постаралась быть такой красивой ради него. Он поймет, не сможет не понять, что она предназначена ему раз и навсегда самим небом. Наконец-то он согласится принять свой высший жребий, на этот раз он ее не оттолкнет.

Дрожа от измучившего ее желанья, Гермiona ступила в церковь и незаметно поискала Руперта глазами, ее стройное тело сотрясало волнение. Беркину как шаферу следовало стоять ближе к алтарю. Стараясь не выдать себя, Гермiona бросила осторожный взгляд в ту сторону.

Но его там не было. Ужас охватил Гермionу, ей казалось, что она тонет. Надежда ушла, оставив ее опустошенной. Машинально она приблизилась к алтарю. Никогда еще Гермiona не испытывала такую острую боль, такое полное и окончательное поражение. Это было хуже самой смерти, полная пустота, пустыня.

Жених и шафер еще не приехали. В толпе у церкви нарастало смятение. Урсула чувствовала себя чуть ли не виновной во всем. Мысль, что невеста прибудет и не найдет жениха в церкви, была невыносима. Свадьбе ничто не должно помешать — что бы там ни было.

Но вот показалась карета с невестой, украшенная лентами и кокардами. Серые кони резво несли ее к месту назначения — церковным воротам, из кареты несли смех. Задорный, радостный смех. Дверцу кареты распахнули, чтобы выпустить наружу очаровательную виновницу торжества. Недовольный ропот пробежал по толпе.

Первым из кареты — тенью в утреннюю свежесть — вышел отец, высокий, худой, изможденный человек с редкой черной бородкой, в которой поблескивала седина. Он застыл в терпеливом, самозабвенном ожидании у дверцы. В просвете появились нежная зелень и цветы, белоснежные атлас и кружева, и веселый голосок проговорил:

— Как мне отсюда выбраться?

По толпе пробежала волна удовлетворения. Люди теснились, чтобы быть ближе к невесте, жадно вглядывались в склоненную белокурую головку с приколотыми цветочными бутонами и ножку в белой тифельке, ищущую ступеньку. Невесту, как морскую пену прибором, вынесло к отцу, и вот она уже стояла рядом с ним вся в белом, а ее вуаль колыхалась от смеха.

— Вот и я! — сказала она.

Облокотившись на руку болезненного отца и шурша пеной воздушных кружев, она ступила на все ту же красную ковровую дорожку. Молчаливый отец с нездоровым желтым цветом лица, казавшийся еще более изможденным из-за черной бороды, чопорно, словно был не в духе, поднимался по ступеням, но это никак не отражалось на невесте, чей смех звенел, как нежнейший колокольчик.

А жениха все не было! Урсула не могла этого вынести. С трепещущим от беспокойства сердцем она перевела взгляд на бежавшую вниз по холму дорогу, именно на ней должен был появиться экипаж жениха. И она увидела карету. Та мчалась с бешеной скоростью. Она приближалась. Да, это ехал жених. Урсула повернулась в ту сторону, где находились невеста и толпа зевак, и, видя со своего места всю картину целиком, издала нечленораздельный крик. Ей хотелось, чтобы все знали: жених уже почти здесь. Но ее возглас был столь же тих, сколь и невразумителен, и Урсула густо покраснела: смущение перевесило желание известить гостей.

А карета, громыхая, неслась вниз, приближаясь с каждым мгновением. В толпе послышались крики. Невеста, как раз достигшая верха лестницы, с веселым видом обернулась, желая знать причину шума. Она увидела движение среди собравшихся, подъехавший экипаж и жениха, который, выпрыгнув из кареты, обогнул лошадей и пробиваясь сквозь толпу.

— Сюда! Сюда! — крикнула она лукаво и весело. Залитая солнечным светом, она стояла на дорожке и махала букетом. Он же протискивался со шляпой в руке сквозь толпу и не слышал ее. — Сюда! — вновь выкрикнула она, глядя на жениха сверху вниз. В это время молодой человек случайно поднял глаза и увидел невесту и ее отца, стоявших наверху. Тень удивления пробежала по его лицу. Он колебался лишь мгновение, тут же приготовившись к рывку, чтобы нагнать девушку.

— А-а! — издала она необычный пронзительный крик и, повинуясь инстинкту, вдруг повернулась и бросилась изо всех сил бежать к церкви — только мелькали белые тифельки и развевалось платье. Подобно охотничьей собаке, молодой человек припустился за невестой; перепрыгивая сразу несколько ступенек, он пронесся мимо ее отца, сильные гибкие бедра работали четко, как у преследующей добычу гончей.

— Давай, лови ее! — кричали из толпы простолюдинки, охваченные охотничьим азартом.

А невеста, на которой живой пеной колыхались цветы, замерла на мгновение перед тем, как свернуть за угол церкви. Оглянувшись, она с громким смехом, в котором звучал вызов, удержала равновесие и, резко изменив направление, скрылась за серой каменной опорой. Через секунду жених, пригнувшись в стремительном беге, ухватился за каменный угол и мигом перенесся на другую его сторону — только мелькнули и скрылись гибкие сильные бедра.

Толпа у ворот взорвалась восторженными криками одобрения. Внимание Урсулы вновь привлекла мрачная, сутулая фигура мистера Крича — он по-прежнему стоял на ковровой дорожке, созерцая с бесстрастным лицом этот бег к церкви. Когда все закончилось, он огляделся и увидел позади себя Руперта Беркина, который тут же сделал несколько шагов вперед и встал рядом.

— Похоже, мы замыкаем шествие, — заметил Беркин с легкой улыбочкой.

— Увы! — только и отозвался отец. И мужчины двинулись вперед по дорожке.

Беркин был такой же худощавый, как и мистер Крич, — бледный, болезненного вида, однако, несмотря на худобу, превосходно сложен. Он слегка приволакивал одну ногу, что происходило исключительно из-за застенчивости. Хотя одет он был в соответствии с торжественным событием, в его облике присутствовало нечто, не сочетаемое с парадной одеждой, что придавало ему несколько смешной вид. Его глубокая, оригинальная натура не подходила для стандартных ситуаций. Однако он приспосабливался к общепринятым нормам, переделывал себя.

Притворяясь обычным, заурядным человеком, он изображал это настолько искусно, подделяваясь под окружение и быстро приспосабливаясь к собеседнику и его проблемам, что нисколько не выбивался из нормы, обретал расположение окружающих и не давал повода упрекать себя в неискренности.

Сейчас Беркин мягко и доброжелательно беседовал с мистером Кричем, шагая рядом с ним по дорожке; подобно канатоходцу, он тоже умел балансировать в разных ситуациях на натянутом канате, притворяясь, что отлично там себя чувствует.

— Сожалею, что мы так задержались, — говорил он. — Никак не могли отыскать крючок для застегивания пуговиц, пришлось самим застегивать туфли. А вот вы приехали вовремя.

— Как всегда, — отозвался мистер Крич.

— А я постоянно опаздываю, — сказал Беркин. — Но сегодня я был пунктуален как никогда, просто подвели обстоятельства. Мне очень жаль.

Мужчины тоже скрылись за углом — смотреть теперь было не на что. Урсула продолжала думать о Беркине. Он возбуждал ее любопытство, привлекал и одновременно раздражал.

Ей хотелось узнать его лучше. Раз или два она разговаривала с ним, но только в официальной обстановке, как с инспектором. Ей показалось, что он заметил некоторое родство между ними, — возникло естественное понимание, ощущаемое сразу же, когда люди говорят на одном языке. Но они провели вместе слишком мало времени, чтобы это взаимопонимание углубилось. К тому же ее не только влекло к нему — что-то и отталкивало. Она ощущала в мужчине скрытую враждебность, догадываясь о существовании некоего тайного уголка души, холодного и недоступного.

И все же ей хотелось его узнать.

— Что ты думаешь о Руперте Беркине? — спросила она Гудрун несколько неуверенным тоном. Ей претило его обсуждать.

— Что я думаю о Руперте Беркине? — повторила Гудрун. — Я нахожу его привлекательным, весьма привлекательным. Но я не выношу его манеру общения: с каждой маленькой дурочкой он говорит так, словно она ему безумно интересна. Чувствуешь себя просто обманутой.

— А почему он так делает? — спросила Урсула.

— У него отсутствует подлинное критическое чутье по отношению к людям и к ситуациям, — ответила Гудрун. — Говорю тебе, к любой дурочке он будет относиться так же, как к тебе или ко мне, а это оскорбительно.

— Да уж, — согласилась Урсула. — Надо уметь различать.

— Вот именно — надо уметь различать, — повторила Гудрун. — Но во всех прочих отношениях он отличный человек, яркая личность. Однако доверять ему нельзя.

— Да, — рассеянно согласилась Урсула. Ей всегда приходилось соглашаться с мнением Гудрун, даже если внутренне она его не разделяла.

Сестры молча сидели, дожидаясь, когда венчание закончится и молодожены и гости выйдут из церкви. Гудрун не стремилась говорить. Ей хотелось думать о Джеральде Криче. Хотелось знать, удержится ли надолго то яркое чувство, какое она испытала при виде его. Хотелось целиком сосредоточиться на этом.

А в церкви свадьба шла полным ходом. Гермiona Роддайс думала только о Беркине. Он стоял неподалеку. Ее тянуло к нему как магнитом. Ей хотелось все время касаться его. Иначе у нее пропадала уверенность в том, что он рядом. Но все же она покорно простояла одну всю церемонию венчания.

Пока он не приехал, она страдала так сильно, что до сих пор не пришла в себя. Что-то вроде невралгической боли продолжало терзать Гермionу, теперь ее мучила возможная потеря Беркина. Она дожидалась его приезда, находясь в состоянии легкого помешательства из-за непрекращающейся нервной пытки. Сейчас же она тихо стояла с выраже-

нием восторга на лице, казавшемся в этот момент ликом ангела, — духовность взгляда проистекала из страдания, и в нем было столько боли, что сердце Руперта разрывалось от жалости. Он видел ее склоненную голову, ее восторженное лицо, в экстатическом выражении которого было нечто демоническое. Почувствовав, что Руперт смотрит на нее, Гермиона подняла голову и устремила на мужчину горящий взгляд прекрасных серых глаз. Но он отвел свой взгляд, и тогда Гермиона опустила голову со стыдом и мукой, в ее сердце возобновились прежние терзания. Руперта тоже мучил стыд, смешанный с неприязнью, а также с острой жалостью: ведь он не хотел встречаться с Гермионой глазами, не хотел получать от нее никаких особых знаков внимания.

Невесту и жениха обвенчали, и все собравшиеся направились к выходу. В толчее Гермиона прижалась к Беркину. И он терпеливо это перенес.

До Гудрун и Урсулы доносились звуки органа, на котором играл их отец. Он обожал исполнять свадебные марши. Но вот появились молодожены. Звонили колокола, от чего дрожал воздух. Интересно, подумала Урсула, чувствуют ли деревья и цветы вибрацию и что они думают об этом странном сотрясении воздуха? Невеста со скромным видом опиралась на руку жениха, а тот, глядя прямо перед собой, бессознательно хлопал глазами, как бы не понимая, где находится. Он являл собой довольно комичное зрелище, моргал и всячески пытался соответствовать нужному образу, хотя ему было тяжело позировать перед толпой. Выглядел он как типичный морской офицер, мужественно выполняющий свой долг.

Беркин шел с Гермионой. Сейчас, когда она опиралась на его руку, у нее был восторженный, победоносный взгляд прощенного падшего ангела, хотя легкий намек на демонизм все же сохранялся. Лицо самого Беркина ничего не выражало; Гермиона завладела им, и он воспринимал это смиренно, как неизбежность.

Появился и Джеральд Крич, белокурый, красивый, пышущий здоровьем и неукротимой энергией, — в стройной фигуре не единого изъяна, в приветливом, почти счастливом выражении лица изредка проскальзывало непонятное лукавство. Гудрун резко поднялась со своего места и пошла прочь. Она не могла больше этого выносить. Ей хотелось побыть одной, чтобы понять суть странной внезапной прививки, изменившей весь состав ее крови.

Глава вторая ШОРТЛЕНДЗ

Брэнгуэны вернулись домой в Бельдовер, а тем временем в Шортлендзе, доме Кричей, собрались на свадебный прием гости. Дом был старинный — низкий и длинный, типичная барская усадьба, он тя-

нулся вдоль верхней части склона, как раз за небольшим озерком Уилли-Уотер. Окна дома выходили на идущий под откос луг, который из-за растущих тут и там одиноких больших деревьев можно было принять за парк, на водную гладь озера и на поросшую лесом вершину холма, за которым находились угольные разработки. К счастью, сами шахты были не видны, об их существовании говорил лишь вьющийся над холмом дымок. Пейзаж был сельский — живописный и мирный, да и сам дом таил своеобразное очарование.

Сейчас он был весь заполнен родственниками и гостями. Почувствовавший себя неважно отец прилег отдохнуть. За хозяина остался Джеральд. Стоя в уютном холле, он легко и непринужденно общался с мужчинами. Похоже, ему нравилась его роль, он улыбался, излучая радушие.

Женщины слонялись по холлу, наталкиваясь то тут то там на трех замужних дочерей семейства. Их характерные властные интонации слышались повсюду: «Хелен, подойди сюда на минутку», «Марджори, ты мне здесь нужна», «Послушайте, миссис Уитем...» Громко шуршали юбки, мелькали силуэты нарядных женщин, какой-то ребенок проскакал на одной ноге туда и обратно через холл, торопливо снова ла прислуга.

Тем временем мужчины, разбившись на группки, болтали и курили, делая вид, что не замечают оживленной суеты женщин. Но из-за женской болтовни, перемежающейся возбужденным деланным смехом, разговор у них не клеился. Они напряженно выжидали и уже начинали скучать. Один Джеральд продолжал пребывать в счастливом и добродушном расположении духа, не замечая быстро текущего времени и праздного ожидания: ведь он был хозяином положения.

Неожиданно в холл бесшумно вошла миссис Крич и окинула всех внимательным властным взглядом. Она еще не сняла шляпку и продолжала оставаться в мешковатом синем шелковом жакете.

— Что случилось, мама? — спросил Джеральд.

— Ничего, совершенно ничего, — рассеянно ответила она, направившись напрямиком к Беркину, который в тот момент разговаривал с одним из зятьев Кричей.

— Здравствуйте, мистер Беркин, — приветствовала она его своим низким голосом и, не обращая никакого внимания на остальных гостей, протянула ему руку.

— Миссис Крич, — произнес Беркин мгновенно изменившимся голосом, — у меня не было возможности подойти к вам раньше.

— Я не знаю здесь половины гостей, — продолжала она низким голосом. Ее зять неловко отошел в сторону.

— Вам неприятны незнакомцы? — рассмеялся Беркин. — Я и сам никогда не мог понять, почему нужно развлекать людей по той лишь причине, что они оказались в одной комнате с тобой, почему вообще нужно замечать их.

— Да, именно так, — поддержала его миссис Крич. — И все же от них никуда не деться. Я многих здесь не знаю. Дети представляют их мне: «Мама, это мистер такой-то». И это все. Что стоит за названным именем? И какое мне дело до этого человека и его имени?

Миссис Крич подняла глаза на Беркина. Женщина пугала его, но в то же время ему льстило, что она, почти не замечая других, сразу подошла к нему. Он глядел на ее напряженное, с крупными чертами, умное лицо, но избегал встречаться с серьезным взглядом голубых глаз. Зато обратил внимание на развившиеся и слипшиеся локоны, прикрывавшие изящные, но не вполне чистые уши. Ее шея также не блистала чистотой. Но даже несмотря на это, он ощущал родство с ней — она была ему ближе всех остальных гостей. А ведь он-то, подумал Беркин, моется тщательно — во всяком случае, и шея, и уши у него всегда чистые.

Он слегка улыбнулся своим мыслям. Однако оставался настороже, чувствуя, что он и пожилая, отчужденная от всех женщина ведут себя как заговорщики, как пятая колонна во вражеском стане. Этим он напоминал оленя, который одним ухом прислушивается, нет ли погони, а другим — что его ждет впереди.

— Вообще-то люди ничего особенного собой не представляют, — сказал Беркин, не желая затягивать разговор.

Миссис Крич бросила на него быстрый вопрошающий взгляд, как бы сомневаясь в искренности его слов.

— Что значит — не представляют? — резко спросила она.

— Мало кто из них — личности, — ответил Беркин, углубляясь против воли в проблему. — Они только и умеют молоть языком и хихикать. Без таких было бы куда лучше. Можно сказать, что они вообще не существуют, их здесь нет.

Пока он говорил, миссис Крич не спускала с него глаз.

— Но не мы же их выдумываем, — решительно возразила она.

— Их невозможно выдумать: они не существуют.

— Ну, я бы так категорично не утверждала, — сказала миссис Крич. — Как бы то ни было, они здесь. Не мне решать, есть они или их нет на самом деле. Я знаю только то, что не собираюсь считаться с ними. Нельзя требовать от меня, чтобы я знала их только потому, что они случайно оказались в моем доме. Что до меня, то пусть бы их вообще здесь не было.

— Вот именно, — поддержал ее Беркин.

— Вы согласны? — спросила она.

— Конечно, — опять согласился он.

— И все же они здесь — вот ведь какая неприятность, — продолжала миссис Крич. — Здесь мои зятя, — развивала она свой монолог. — Теперь вышла замуж и Лора, прибавился еще один. А я никак не могу отличить одного от другого. Они подходят ко мне, называют мамой. Я заранее знаю, что они скажут: «Как чувствуете себя, мама?» Мне

следовало бы ответить: «Какая я вам мама?» Но что толку? От них никуда не денешься. У меня есть свои дети, и я могу отличить их от детей других женщин.

— Иного и ожидать нельзя, — сказал Беркин.

Миссис Крич удивленно подняла глаза, возможно, забыв о его существовании. И потеряла нить разговора.

Она рассеянно озиралась. Беркин не знал, кого она ищет и о чем думает. Очевидно, увидела сыновей.

— Мои дети все здесь? — внезапно спросила она.

Пораженный и почти испуганный неожиданностью вопроса, Беркин рассмеялся.

— За исключением Джеральда я их едва знаю, — ответил он.

— Джеральд! — воскликнула она. — Он самый уязвимый. Глядя на него, этого не скажешь, правда?

— Пожалуй, — согласился Беркин.

Мать устремила взгляд на старшего сына и некоторое время неотрывно смотрела на него.

— Ох, — издала она непонятный односложный возглас, прозвучавший достаточно цинично, отчего Беркин почувствовал безотчетный страх. Миссис Крич пошла прочь, позабыв о нем, но тут же вернулась.

— Хотелось бы, чтобы у него был друг, — сказала она. — У него никогда не было друга.

Беркин взглянул в ее голубые, серьезно смотрящие на него глаза. Смысл этого взгляда он постичь не мог. «Разве я сторож брату моему?»¹ — почти легкомысленно подумал он.

И тут же вспомнил, пережив некоторый шок, что слова эти принадлежат Каину. Если кто и был Каином, то как раз Джеральд. Но и его трудно назвать Каином, хотя он и убил своего брата. Существует такое понятие, как несчастный случай, и тут нельзя делать никаких далеко идущих выводов, пусть даже один брат убил другого. В детстве Джеральд случайно убил брата. И что? Зачем искать клеймо проклятия на том, кто стал виновником несчастного случая? Рождение и смерть человека случайны. Разве не так? Значит, каждая человеческая жизнь зависит от простого случая, и только расы, роды, виды стабильны и универсальны. Или все не так и случайности нет? И все имеет свою причину? Задумавшись, Беркин забыл о стоявшей рядом миссис Крич, как и она забыла о нем.

Нет, в случай он не верил. В каком-то глубинном смысле все связано между собой.

Как раз когда он наконец пришел к такому выводу, к ним подошла одна из дочерей семейства со словами:

— Mamochka, dorogaya, poydi i snimi shlyapku. Cherez minutu vse sadyatsya za stol. Ne zabывай, у нас парадный обед. — Взяв мать под руку,

¹ Бытие, 4—9.

она увела ее с собой. Беркин тут же вступил в разговор с женщиной, стоявшим ближе других.

Прозвучал гонг на обед. Мужчины подняли головы, но не двинулись с места. Женщины тоже, казалось, не считали, что звук гонга относится к ним. Прошло пять минут. В дверях появился старый слуга Краузер, его лицо выражало растерянность. Он с мольбой посмотрел на Джеральда. Тот снял с полки крупную витую раковину и, не обращая внимания на присутствующих, подул в нее, издав оглушительный звук — необычный, возбуждающий, от него у всех сильнее забилося сердце. Этот зов был почти магическим. Все тут же сбежались, как по сигналу, и дружно направились в столовую.

Джеральд какое-то время выжидал, предоставляя сестре право выступить в роли хозяйки. Он знал, что мать всегда с пренебрежением относится к своим обязанностям. Но сестра просто направилась к своему месту. Тогда он сам в несколько властной манере стал руководить рассаживанием гостей.

Наступило временное затишье: внимание гостей переключилось на *hors d'œuvres*¹, которые стали разносить. В тишине отчетливо прозвучал спокойный, рассудительный голосок девочки лет тринадцати-четырнадцати с длинными распущенными волосами:

— Джеральд, ты не подумал об отце, когда издавал этот невыносимый рев.

— Разве? — отозвался Джеральд. И, обращаясь к гостям, пояснил: — Отец лег, он неважно себя чувствует.

— Как он сейчас? — спросила одна из замужних дочерей, выглядывавшая из-за огромного свадебного торта, высившегося посередине стола в блеске искусственных цветов.

— У него ничего не болит, но он чувствует себя усталым, — ответил Уинифред, девочка с длинными волосами.

Разлили вино, голоса зазвучали громче и непринужденнее. В дальнем конце стола сидела мать, ее локоны совсем развились. Соседом матери был Беркин. Время от времени она свирепо оглядывала лица гостей, подавалась вперед и бесцеремонно их рассматривала. Иногда она спрашивала Беркина низким голосом:

— Кто этот молодой человек?

— Не знаю, — осторожно отвечал Беркин.

— Я видела его раньше?

— Не думаю. Я лично не видел.

Такой ответ удовлетворял миссис Крич. Глаза ее устало смыкались, умиротворение разливалось по лицу, делая ее похожей на задремавшую королеву. Но она тут же вздрагивала, на лице возникала светская улыбка, и тогда на краткий миг она превращалась в гостеприимную хозяйку — любезно склонялась к гостям, всем своим видом показывая, как она им рада. Но это длилось недолго; почти сразу же по ее

¹ Закуски (*фр.*).

лицу вновь пробежала тень, взгляд обретал угрюмое, хищное выражение; она начинала взирать на всех исподлобья и даже с ненавистью, как затравленный зверь.

— Мама, — обратилась к ней Дайана, красивая девочка, чуть старше Уинифред, — можно мне вина?

— Да, можно, — разрешила мать автоматически, не вдумываясь в суть просьбы.

И Дайана, подзвав к себе жестом слугу, попросила наполнить бокал.

— Джеральд не может мне запретить, — невозмутимо произнесла девочка, обращаясь ко всей компании.

— Все хорошо, Ди, — дружелюбно отозвался брат. Дайана глотнула из бокала, глядя на него с вызовом.

В доме царила атмосфера непривычной раскованности, граничащей чуть ли не с анархией. Это больше напоминало сознательный вызов авторитетам, чем подлинную свободу. К Джеральду, правда, прислушивались, но не потому, что он занимал определенное положение, а благодаря силе личности. В его мягком голосе присутствовала властная нотка — она заставляла повиноваться остальную молодежь.

Гермиона затеяла спор с новоиспеченным мужем по национальному вопросу.

— Я не согласна, — говорила она. — Мне кажется ошибкой, когда взывают к патриотическим чувствам. Это похоже на конкуренцию между фирмами.

— Как можно такое говорить? — воскликнул Джеральд, страстный спорщик. — Думаю, негоже сравнивать народы с доходными предприятиями, а ведь нацию можно в какой-то степени приравнять к народу. Мне кажется, это обычно и подразумевается.

Возникла небольшая пауза. Джеральд и Гермиона недолюбливали друг друга, но внешне держались подчеркнуто любезно.

— Ты полагаешь, что народ и нация — одно и то же? — проговорила Гермиона задумчиво и нерешительно.

Беркин понимал: она ждет, чтобы он вступил в спор. И покорно заговорил:

— Думаю, Джеральд прав: в основе любого народа лежит определенная нация — по крайней мере в Европе.

Гермиона опять выдержала паузу, как бы давая этому заявлению устояться. Затем заговорила с подчеркнутой уверенностью в своей правоте:

— Пусть так, но разве патриотизм взывает к национальному инстинкту? А не к собственническому, не к торгашескому? И разве не его имеют в виду, когда говорят о нации?

— Возможно, — сказал Беркин, понимая, что этот спор не к месту и не ко времени.

Однако Джеральд уже завелся.

— У народа может быть свой коммерческий интерес, — заметил он. — Без него нельзя. Народ — своего рода семья. А любая семья должна обеспечить свое будущее. И чтобы обеспечить его, приходится вступать в конкурентные отношения с другими семьями, то бишь нациями. Не вижу причины, почему нельзя этого делать.

И опять Гермiona некоторое время молчала с холодным, не допускающим возражений видом, а потом сказала:

— Мне кажется, пробуждать дух соперничества всегда плохо. Подобные действия ведут к вражде. А враждебные чувства имеют тенденцию нарастать.

— Однако нельзя ведь совсем уничтожить дух соревнования? — не сдавался Джеральд. — Это один из необходимых стимулов развития производства и улучшения жизни.

— Не согласна, — послышался неторопливый голос Гермiony. — Думаю, без него можно обойтись.

— Должен признаться, — вмешался Беркин, — что мне ненавистен дух соревнования. — Гермiona надкусывала хлеб, медленно отводя оставшийся кусок ото рта несколько нелепым движением. Она повернулась к Беркину.

— Да, он тебе ненавистен, — удовлетворенно подтвердила она.

— Он мне претит, — повторил он.

— Да, — прошептала она, успокоенная и довольная.

— Однако, — настаивал Джеральд, — никто не позволит вам отнять средства к существованию у вашего соседа, почему же позволительно одной нации лишить этих средств другую?

Со стороны Гермiony послышалось невнятно выраженное недовольство, оформившееся затем в слова, произнесенные ею с нарочитым безразличием:

— Речь не всегда идет только о собственности, не так ли? Не все ведь опирается в вещи?

Джеральда уязвил намек на якобы продемонстрированный им вульгарный материализм.

— И да, и нет, — ответил он. — Если я пойду и сорву шляпу с головы некоего человека, шляпа автоматически станет символом его свободы. И если он начнет бороться за свою шляпу, это будет борьба за свободу.

Гермiona почувствовала себя загнанной в угол.

— Хорошо, — раздраженно проговорила она. — Однако приводить в споре фантастические примеры не совсем корректно. Зачем какому-то человеку подходить и срывать шляпу с моей головы? Он не станет этого делать.

— Только потому, что такой поступок противозаконен, — заявил Джеральд.

— Не только, — поправил его Беркин. — Девяноста девяти мужчинам из ста не нужна моя шляпа.

— Это спорный вопрос, — возразил Джеральд.

— Все зависит от того, какова шляпа, — засмеялся новобрачный.

— А если данному человеку все же нужна та шляпа, что находится на мне, — сказал Беркин, — то мне придется решать самому, что является для меня большей потерей — шляпа или моя позиция независимого и стоящего над схваткой человека. Если я вступлю в борьбу, то утрачу последнее. Для меня важно, что выбрать — свободное волеизъявление или шляпу.

— Правильно, — сказала Гермиона, глядя на Беркина странным взглядом. — Правильно.

— А вы бы позволили сорвать с вашей головы шляпку? — задала новобрачная вопрос Гермионе.

Сидящая безукоризненно прямо женщина медленно, словно под влиянием наркотиков, повернулась к новой собеседнице.

— Нет, — ответила она жестко своим низким голосом, в нем послышался тихий смешок. — Я никогда не допустила бы, чтоб с моей головы сорвали шляпку.

— А что бы ты сделала? — спросил Джеральд.

— Не знаю, — сказала Гермиона. — Может быть, убила.

Опять раздался этот странный смешок, зловещий и характерный для ее манеры общения.

— Разумеется, я понимаю точку зрения Руперта, который хочет разобраться, что ему дороже — шляпа или спокойствие духа, — сказал Джеральд.

— Спокойствие тела, — уточнил Беркин.

— Хорошо, пусть так, — сказал Джеральд. — Но что бы ты выбрал, доведись тебе решать этот вопрос за всю нацию?

— Не приведи господи, — рассмеялся Беркин.

— Однако допустим, что такое случилось, — настаивал Джеральд.

— Не вижу разницы. Если вместо короны у нации старая шляпа, пусть вор возьмет ее себе.

— А разве народ или нацию может венчать старая шляпа? — не унимался Джеральд.

— Думаю, очень даже может, — сказал Беркин.

— А вот я не уверен, — не согласился Джеральд.

— Я не согласна, Руперт, — вмешалась Гермиона.

— Что делать! — отозвался Беркин.

— А мне по душе старый национальный головной убор, — рассмеялся Джеральд.

— Но ты в нем выглядишь как чучело, — дерзко выкрикнула Дайана, сестра-подросток.

— Вы совсем заморочили нам головы этими старыми шляпами, — воскликнула Лора Крич. — Умолкни, Джеральд! Мы ждем тоста. Давайте выпьем. Наполните бокалы и вперед! Речь! Речь!

Задумавшись о гибели нации или народа, Беркин машинально следил, как наполняют его бокал шампанским. Оно пузырилось у края бокала; когда лакей отошел, Беркин, неожиданно почувствовав при виде охлажденного вина сильнейшую жажду, залпом выпил шампанское. В комнате воцарилось напряженное молчание. Беркину стало мучительно стыдно.

«Случайно или намеренно сделал я это?» — задал он себе вопрос. И решил, что точнее всего будет сказать, что сделал он это «намеренно случайно» — есть такое вульгарное определение. Он оглянулся на приглашенного со стороны лакея. Тот подошел, и в том, как он ступал, ощущалось холодное неодобрение. Беркин подумал, что терпеть не может тосты, лакеев, торжественные приемы и весь род человеческий в большинстве его проявлений. Затем поднялся, чтобы провозгласить тост. Но чувствовал себя при этом отвратительно.

Наконец обед подошел к концу. Кое-кто из мужчин вышел в сад. Там была полянка с цветочными клумбами, за железной оградой простирался небольшой лужок или парк. Вид был чудесный, дорога шла, извиваясь, по краю неглубокого озера и терялась в деревьях. Сквозь прозрачный весенний воздух мерцала вода, деревья на противоположном берегу розовели, пробуждаясь к новой жизни. Коровы джерсейской породы, очаровательные, словно сошедшие с картинки, прижимались к забору бархатными мордами и, жарко дыша, смотрели на людей, возможно, ожидая хлебной корки.

Прислонившись к ограде, Беркин почувствовал на руке влажное и горячее дыхание животного.

— Великолепная порода, очень красивая, — заметил Маршалл, один из зятьев. — Такого молока больше никто не дает.

— Вы правы, — согласился Беркин.

— Ах ты, моя красавица, моя красавица, — вдруг пропищал Маршалл высоким фальцетом, отчего Беркин почувствовал отчаянное желание расхохотаться.

— Кто выиграл гонку, Лаптон? — обратился он к новобрачному, чтобы скрыть приступ подступающего смеха.

Новобрачный вынул изо рта сигару.

— Гонку? — переспросил он, и легкая улыбка пробежала по его лицу. Ему явно не хотелось говорить о беге наперегонки к церкви. — Мы прибежали одновременно. Она первой коснулась двери, но я успел схватить ее за плечо.

— О чем это вы? — заинтересовался Джеральд.

Беркин посвятил его в то, что жених и невеста затеяли беготню перед венчанием.

— Гм, — неодобрительно хмыкнул Джеральд. — А что заставило вас опоздать?

— Лаптон затеял разговор о бессмертии души, — ответил Беркин, — а потом не мог отыскать крючок для застегивания пуговиц.

— Ну и ну! — вскричал Маршалл. — Думать о бессмертии души в день собственной свадьбы! Неужели не нашлось другой темы?

— А что в этом плохого? — спросил новобрачный, его чисто выбритое лицо морского офицера залилось краской.

— Можно подумать, что ты отправлялся на казнь, а не на венчание. Бессмертие души! — повторил Маршалл с издевательской интонацией.

Но его реплика успеха не имела.

— И что ты на этот счет решил? — поинтересовался Джеральд, сразу же наостривший уши, услышав, что речь зашла о метафизическом споре.

— Сегодня душа тебе не потребуется, дорогой, — сказал Маршалл. — Только помешает.

— Господи! Маршалл, пошел бы ты и поговорил с кем-нибудь еще, — воскликнул, не выдержав, Джеральд.

— Да с радостью! — рассердился Маршалл. — Здесь слишком много болтают о душе, черт подери...

И он удалился разгневанный. Джеральд проводил его злым взглядом, который становился по мере удаления плотной фигуры зятя все спокойнее и дружелюбнее.

— Хочу тебе вот что сказать, Лаптон, — произнес Джеральд, резко поворачиваясь к молодожену. — В отличие от Лотти, Лора не привела в семью болвана.

— Утешайся этим, — рассмеялся Беркин.

— Я не обращаю на таких внимания. — Новобрачный тоже засмеялся.

— Но расскажите об этом состязании. Кто его начал? — спросил Джеральд.

— Мы опаздывали. Лора уже поднялась по лестнице на церковный двор, когда подъехала наша коляска. Она увидела Лаптона, и тот стрелой понесся к ней. И тут она побежала. Не понимаю, почему ты так рассердился. Это что, унижает твою фамильную честь?

— Можно сказать и так, — ответил Джеральд. — Если ты за что-то берешься, делай это как следует или не делай вообще.

— Хороший афоризм, — отозвался Беркин.

— Ты со мной не согласен? — спросил Джеральд.

— Отчего же. Но меня утомляет, когда ты начинаешь говорить афоризмами.

— Пошел к черту, Руперт. Не только тебе сыпать ими.

— Вот уж нет. Я пытаюсь избавиться от них, ты же их вечно извлекаешь на свет божий.

Джеральд мрачно усмехнулся его шутке. Затем сделал неуловимое движение бровями, как бы освобождаясь от неприятных мыслей.

— Так ты не веришь в необходимость соблюдать определенные нормы поведения? — строго потребовал он ответа.

— Нормы? Вот уж нет. Ненавижу нормы. Впрочем, для черни они необходимы. Но если ты что-то собой представляешь, слушай только себя и делай то, что нравится.

— Что ты подразумеваешь под «слушай себя»? — спросил Джеральд. — Это из разряда афоризмов или клише?

— Поступай так, как хочется. Порыв Лоры, побежавшей от Лаптона к церковным дверям, кажется мне великолепным. В каком-то смысле это почти шедевр стиля. Действовать спонтанно, повинуясь инстинкту, — одна из труднейших вещей на свете и единственная по-настоящему аристократическая.

— Надеюсь, ты не ждешь, что я отнесусь серьезно к твоим словам? — сказал Джеральд.

— Как раз жду, Джеральд. А я мало от кого этого жду.

— Тогда, боюсь, я тебя разочарую. Ведь, по-твоему, люди должны делать лишь то, что им нравится.

— Именно это они и делают. Но мне бы хотелось, чтоб они полюбили в себе личность — то, что делает их уникальными, отличными от других. Они же предпочитают подстраиваться под остальных.

— Что касается меня, — решительно произнес Джеральд, — то я бы не хотел жить среди людей, действующих спонтанно и повинующихся импульсу, как ты это называешь. В таком мире все тут же перережет друг другу глотки.

— Из твоих слов можно заключить, что тебе самому хочется перерезать другим глотки.

— Из чего это следует? — сердито спросил Джеральд.

— Никто не станет резать другому горло, если тот сам этого не хочет: если жертва не хочет быть зарезанной, ее не зарежут. Это истина. Чтобы свершилось убийство, нужны двое: убийца и жертва. Жертва — человек, которого можно убить, в глубине души он страстно желает быть убитым.

— Иногда ты несешь дикую чушь, — сказал Джеральд. — Никто не мечтает о том, чтобы ему перерезали горло, хотя многие с удовольствием оказали бы нам подобную услугу.

— Опасная точка зрения, — заметил Беркин. — Неудивительно, что ты боишься самого себя и что ты несчастлив.

— Почему это я боюсь себя? — возмутился Джеральд. — И несчастливым себя тоже не считаю.

— Похоже, у тебя есть потаенное желание быть зарезанным — вот тебе и кажется, что все точат на тебя кинжалы.

— Откуда ты это взял? — изумился Джеральд.

— Да все от тебя, — ответил Беркин.

Мужчины замолчали, между ними возникла странная враждебность, очень близкая к любви. Так случалось всегда, завязавшийся разговор постоянно подводил их к опасной черте, необъяснимой, рискованной близости, которая могла обернуться ненавистью, любовью

или и тем и другим. Расставались они с напускной беспечностью, словно расставание было чем-то незначительным. И действительно считали его таковым. Однако сердце каждого после этих встреч оставалось обожженным. Невидимый огонь сжигал их. Но они никогда не признались бы в этом, желая сохранить легкие приятельские отношения — и не больше. Никаких пылких чувств — это было бы не мужественно и неестественно, считали они, совсем не веря в возможность глубоких отношений между мужчинами, и это неверие мешало развитию сильного, но постоянно подавляемого дружеского порыва.

Глава третья КЛАССНАЯ КОМНАТА

Школьный день близился к концу. Шел последний урок, в классе была спокойная, ровная атмосфера. Проходили основы ботаники. Парты были завалены сережками орешника и ивы, ученики старательно их рисовали. Но солнце клонилось к закату, рисовать становилось все труднее. Урсула, стоя перед классом, старалась вопросами подвести детей к пониманию структуры и значения соцветия сережек.

Солнечный луч проник в выходящее на запад окно, щедро залил красноватым медным светом класс, обвел золотыми ободками детские головки, ярко осветил стену напротив. Но Урсула этого почти не заметила. Она была занята, день заканчивался, работа нарастала, как мерный прилив, чтобы, достигнув пика, отступить.

Этот день ничем не отличался от остальных, деятельность Урсулы больше всего напоминала состояние транса. Под конец, когда она торопилась закрепить пройденный материал, всегда начиналась некоторая спешка. Она засыпала учеников вопросами, желая убедиться в том, что они усвоят необходимые знания к моменту, когда прозвонит звонок. Урсула стояла в тени перед классом, держа в руках соцветия, и, увлеченная объяснением, склонялась к ученикам.

Она слышала скрип двери, но не обратила на это внимания и потому вздрогнула, увидев рядом с собой в ярко-красных лучах лицо мужчины. Мужчина ждал, когда она обратит на него внимание, его лицо пылало огнем. Урсула ужасно перепугалась. Ей показалось, что она сейчас потеряет сознание. Все подавляемые подсознательные страхи вырвались на волю.

— Я напугал вас? — спросил Беркин, пожимая ей руку. — Я думал, вы слышали, когда я вошел.

— Нет, не слышала, — пролепетала Урсула, еле найдя в себе силы заговорить. Рассмеявшись, Беркин попросил извинения. Урсула не поняла, что его рассмешило.

— Здесь довольно темно, — сказал Беркин. — Не зажечь ли нам свет?

Сделав несколько шагов в сторону, он повернул выключатель. Лампа ярко вспыхнула, осветив и изменив класс: пропала та волшебная магия, которая присутствовала до прихода Беркина. Повернувшись, он с любопытством взглянул на Урсулу. Ее глаза удивленно округлились, губы слегка подрагивали. Казалось, ее внезапно вывели из сна. Красота девушки была живой и нежной, как слабый блик закатного луча на ее лице. Беркин смотрел на нее, испытывая неведомое дотоле наслаждение и ощущая безотчетную радость в сердце.

— Изучаете соцветия? — спросил он, беря с ближайшей парты сережки орешника. — Они уже такие? Не обращал на них внимания в этом году.

Беркин внимательно рассматривал кисточку орешника.

— И красные тоже есть! — сказал он, глядя на малиновое мерцание женских цветков.

Он прошел по классу, проверяя тетради учеников. Урсула следила за его сосредоточенными действиями. Спокойные движения мужчины умирляли бешеное биение ее сердца. Она стояла, словно зачарованная, глядя, как он движется в каком-то другом по отношению к ней мире. Его присутствие было таким ненавязчивым, что казалось своего рода пустотой в классном пространстве.

Неожиданно он поднял на нее глаза, и от звука его голоса ее сердце забилось сильнее.

— Дайте им цветные карандаши, — сказал Беркин. — Тогда ученики смогут женские цветки раскрашивать красными, а двуполые — желтыми. Я пошел бы по простому пути — только красный и желтый цвета. Очертания тут не очень важны. Здесь нужно подчеркнуть главное.

— У меня нет цветных карандашей, — ответила Урсула.

— Где-то должны быть. Нужны только красные и желтые.

Урсула отправила на поиски одного из учеников.

— Тетради от этого станут неряшливее, — заметила она, густо краснея.

— Не намного, — возразил Беркин. — На такие различия следует непременно обращать внимание. Нужно всегда подчеркивать факт, а не субъективные впечатления. А что здесь факт? Красные остроконечные тычинки женского цветка, свисающие желтые мужские соцветия, желтая пыльца, перелетающая с одних на другие. Зафиксируйте этот факт на картинке, подобно тому, как ребенок рисует лицо — глаза, нос, рот, зубы, вот так... — И он стал рисовать на доске.

За стеклянными дверями класса замаячила еще одна фигура. То была Гермиона Роддайс. Беркин пошел и открыл ей дверь.

— Увидела твою машину, — сказала ему Гермиона. — Не возражаешь, что я отыскала тебя? Ужасно захотелось увидеть, как ты работаешь.

Она остановила на нем долгий интимный, игривый взгляд и издала короткий смешок. И только потом повернулась к Урсуле, наблюдавшей вместе со всем классом эту маленькую сценку между любовниками.

— Здравствуйте, мисс Брэнгуэн, — тихо проворковала Гермиона в своей странной певучей манере, которую можно было принять за иронию. — Вы не против моего присутствия?

Серые глаза насмешливо изучали Урсулу, словно Гермиона ее оценивала.

— Конечно нет, — ответила Урсула.

— Вы уверены? — повторила Гермиона невозмутимо и даже с какой-то наполовину наигранной издевкой.

— Естественно. Я буду рада, — рассмеялась Урсула, слегка взволнованная и смущенная тем, что Гермиона принуждает ее согласиться и стоит слишком близко, словно они подруги, а какие они подруги?

Именно такого ответа и ждала Гермиона. Удовлетворенная, она повернулась к Беркину.

— Чем ты занимаешься? — проворковала она с притворным интересом.

— Соцветиями, — ответил он.

— Правда? — воскликнула Гермиона. — А что ты о них знаешь? — Все это произносилось ею в насмешливой, слегка дразнящей манере, как будто вся затея была игрой. Она тоже взяла в руку веточку с кистью, как бы желая понять источник интереса Беркина.

Гермиона странно смотрелась в классной комнате в своем широком поношенном плаще из зеленоватой ткани с рельефным тускло-золотистым узором. Стоячий воротник и подбивка плаща были из темного меха. Под плащом — платье из дорогой ткани цвета лаванды, тоже отделанное мехом, на голове аккуратная маленькая шляпка из тусклого зеленовато-золотистого материала и меха. Высокая Гермиона производила странное впечатление; казалось, она сошла с холста новомодного экспериментального художника.

— Ты видела красноватую завязь, из которой потом вырастают орехи? Когда-нибудь обращала на нее внимание? — спросил ее Беркин и, подойдя ближе, показал сережку на ветке, которую Гермиона держала в руке.

— Нет, — ответила она. — А что она собой представляет?

— Вот эти маленькие цветки дают семена, а длинные сережки — пыльцу, опыляющую цветки.

— Опыляющую цветки! — повторила Гермиона, внимательно разглядывая кисть.

— Вот из этих маленьких красных точек завяжутся орехи — при условии, что на них попадет пыльца с сережек.

— Маленькие язычки пламени, маленькие язычки пламени, — тихо пробормотала Гермиона. Некоторое время она молча рассматривала крошечные бутончики, в которых трепетали красные тычинки.

— Разве они не прекрасны? Я думаю, прекрасны, — говорила она, придвигаясь ближе к Беркину и указывая на красные волоски длинным белым пальцем.

— Ты никогда не замечала их раньше? — спросил Беркин.

— Никогда, — ответила она.

— А вот теперь ты никогда не пройдешь мимо, — сказал он.

— Теперь я всегда буду их видеть, — повторила Гермиона. — Большое тебе спасибо, что показал. Они такие красивые — маленькие красные язычки...

Ее интерес был необычным, граничащим с восторгом. Она забыла и о Беркине, и об Урсуле. Маленькие красные цветочки мистическим образом ее заворожили.

Урок окончился, тетради собрали, и классная комната наконец опустела. А Гермиона все сидела за столом, подперев руками подбородок, устремив ввысь свое узкое бледное лицо, и ничего не замечала вокруг. Беркин подошел к окну, глядя из ярко освещенной комнаты на серый бесцветный мир по другую сторону стекла, где моросил бесшумный дождь. Урсула убирала в шкаф учебный материал.

Через некоторое время Гермиона поднялась и подошла к ней.

— Это правда, что ваша сестра вернулась домой? — спросила она.

— Да, — ответила Урсула.

— И что, ей нравится в Бельдове?

— Нет.

— Удивительно, что она сразу же не сбежала. Чтобы вынести уродство здешних мест, требуется призвать на помощь все свое мужество. Приезжайте ко мне в гости. Приезжайте погостить вместе с сестрой в Бредэлби.

— Большое спасибо, — поблагодарила ее Урсула.

— Тогда я пришлю вам приглашение, — сказала Гермиона. — Как вы думаете, ваша сестра согласится приехать? Я буду рада. Я в восторге от нее. И нахожу некоторые ее работы изумительными. У меня есть две трясогузки, вырезанные ею из дерева и раскрашенные, — может быть, вы их видели?

— Нет, — ответила Урсула.

— Они необыкновенны — результат яркой вспышки вдохновения...

— Ее деревянные миниатюры действительно очень необычны, — согласилась Урсула.

— Поразительно красивы, полны первобытной страсти...

— Удивительно, что она так предана миниатюре. Она постоянно создает маленькие вещички, которые можно держать в руках, — птиц и мелких животных. И любит смотреть в театральные бинокль не с того конца, ей хочется видеть мир уменьшенным. Почему это, как вы думаете?

Гермиона свысока окинула Урсулу долгим бесстрастным оценивающим взглядом, взволновавшим молодую женщину.

— Действительно любопытно, — отозвалась наконец Гермиона. — Возможно, мелкие вещи кажутся ей более утонченными...

— Но ведь это не так. Разве можно сказать, что мышь утонченнее льва?

Гермиона вновь надолго остановила на Урсуле задумчивый взгляд; казалось, она следит за развитием собственной мысли, не очень прислушиваясь к собеседнице.

— Не знаю, — ответила она. И тут же вкрадчиво пропела, подзывая мужчину: — Руперт, Руперт!

Беркин молча подошел к ней.

— Мелкие вещи утонченнее крупных? — спросила она со сдержанным смешком, как бы задавая вопрос в шутку.

— Понятия не имею, — ответил он.

— Ненавижу утонченность, — заявила Урсула.

Гермиона медленно окинула ее взглядом.

— Вот как? — сказала она.

— Утонченность всегда казалась мне признаком слабости, — с вызовом, словно ее престиж оказался под угрозой, объявила Урсула.

Но Гермиона ее не слушала. Внезапно она нахмурилась и, задумавшись, насупила брови; казалось, ей трудно заставить себя заговорить.

— Руперт, ты действительно так считаешь, — начала она, словно не замечая присутствия Урсулы, — ты действительно считаешь, что это стоит делать? Стоит пробуждать у детей сознание?

По лицу Беркина пробежала тень, он с трудом сдержал ярость. У него были впалые щеки и неестественно бледное лицо. Эта женщина задела его за живое своим серьезным вопросом о самосознании.

— Никто не пробуждает у них сознание. Оно пробуждается само, — ответил Беркин.

— А как ты думаешь, стоит стимулировать, убыстрять процесс созревания? Разве не будет лучше, если они ничего не узнают о соцветии и будут видеть орешник в целом, не вдаваясь в детали, не имея всех этих знаний?

— А что лучше для тебя — знать или не знать, что вот эти маленькие красные цветочки станут орехами после того, как на них попадет пыльца? — сердито спросил Беркин. В его голосе слышались жесткие, презрительные нотки.

Гермиона молчала, по-прежнему устремив ввысь отрешенный взгляд. Беркин кипел от гнева.

— Не знаю, — ответила она неуверенно. — Не знаю.

— Но знание — все для тебя, в нем вся твоя жизнь, — вырвалось у него.

Гермиона медленно перевела на него взгляд.

— Разве?

— Знать — главное для тебя, в этом ты вся; у тебя есть только знание, — вскричал Беркин. — Ты не видишь реальных деревьев или плодов, ты только о них говоришь.

Гермиона опять помолчала.

— Ты так думаешь? — произнесла она наконец с тем же неподражаемым спокойствием. И капризно поинтересовалась: — О каких плодах ты говоришь, Руперт?

— О райском яблоке, — ответил он с раздражением, ненавидя себя за слабость к метафорам..

— Ага, — сказала Гермиона. У нее был усталый вид. Некоторое время все молчали. Затем, с трудом преодолевая себя, она продолжила, шуливо проговорив нараспев: — Не будем говорить обо мне, Руперт. Неужели ты всерьез думаешь, что эти дети будут лучше, богаче, счастливее, обретя знания, неужели ты в это веришь? А может, лучше оставить их такими, какие они есть, не оказывая на них воздействия? Не лучше ли им остаться животными, обыкновенными животными, грубыми, жестокими, любыми, но только не обладать самосознанием, лишаящим их стихийного начала.

Беркин и Урсула думали, что Гермиона завершила свою речь, но у нее в горле что-то заклокотало, и она вновь заговорила:

— Лучше им быть кем угодно, чем вырасти искалеченными, искалеченными духовно, искалеченными эмоционально, отброшенными назад, обращенными против себя, не способными... — Гермиона крепко сжала кулак, словно находясь в трансе, — не способными на произвольное действие, осмотрительными, отягощенными проблемой выбора, никогда не теряющими головы...

И опять они решили, что речь закончена. Но как только Беркин собрался ответить, Гермиона продолжила свою пылкую речь...

— Никогда не теряющими головы, не выходящими из себя, всегда осмотрительными, всегда помнящими о своем благополучии. Разве есть что-нибудь хуже этого? Да лучше быть животными, простыми животными, лишенными разума, чем такими, такими ничтожествами...

— Неужели ты полагаешь, что именно знание делает нас неживыми и эгоистичными? — спросил он сердито.

Широко раскрыв глаза, Гермиона медленно перевела их на Беркина.

— Да, — ответила она и замолчала, не спуская с него рассеянного взгляда. Затем усталым отрешенным жестом потерла лоб. Этот жест еще больше взбесил Беркина.

— Все дело в разуме, — продолжала Гермиона, — и он несет смерть. — Она медленно подняла на мужчину глаза: — Разве наш разум, — при этих словах произвольная конвульсия сотрясла ее тело, — не является нашей смертью? Разве не он разрушает нашу естественность, наши инстинкты? Разве молодые люди в наши дни не становятся мертвецами прежде, чем начинают жить?

— Все потому, что у них слишком мало, а не слишком много разума, — жестко возразил Беркин.

— Ты уверен? — вскричала она. — Я склонна думать иначе. Они чудовищно интеллектуальные, до предела отягощенные сознанием.

— Да они всего лишь находятся в плену ограниченного набора ложных представлений, — воскликнул он.

Гермиона не обратила никакого внимания на его слова, продолжив свои экстатические вопросы.

— Обретая знания, разве мы не теряем все остальное? — патетически вопрошала она. — Если я знаю все о цветке, разве тем самым я не теряю его, оставляя себе только знание о нем? Разве мы не подменяем реальность ее тенью, а саму жизнь мертвым знанием? И что после этого оно мне дает? Что дает мне все знание мира? Да ничего.

— Это только слова, — сказал Беркин. — Знание для тебя — все. Взять хоть твой анимализм, он лишь в твоей голове. Ты не хочешь быть животным, тебе хочется наблюдать в себе животные инстинкты и умозрительно наслаждаться этим. Это вторично и более ущербно, чем самый узколобый интеллектуализм. Твоя тяга к страстям и животным инстинктам — не что иное, как самая последняя и худшая форма интеллектуализма. Ты жаждешь испытать страсти и животные инстинкты, но только умозрительно, в сознании. Все свершается в твоей голове, в твоей черепной коробке. Но ты не хочешь знать, что происходит на самом деле, ты предпочитаешь обманывать себя, что вполне соответствует твоей натуре.

Гермиона перенесла его выпад с решительным и злобным выражением лица. Урсула не знала, куда деваться от удивления и стыда. Ненависть этих двух людей друг к другу пугала ее.

— Все это похоже на поведение леди из Шалота¹, — продолжил Беркин громким, лишенным выражения голосом. Казалось, он обвинял Гермиону перед невидимой аудиторией. — У тебя есть зеркальце, твоя неумная воля, твоя извечная умозрительность, тесный мирок твоего сознания и ничего, кроме этого. В этом зеркале есть все, что тебе нужно. Но теперь, зайдя в тупик, ты хочешь вернуться назад и уподобиться дикарям, не имеющим никаких знаний. Ты хочешь жить одними ощущениями и «страстями».

Последнее слово он произнес с явной издевкой. Гермиона дрожала от ярости и злобы, потеряв дар речи, словно больная пифия² в Дельфах.

— То, что ты называешь страстью, — ложь, — продолжал яростно Беркин. — Это совсем не страсть, это твоя воля. Тебе необходимо все захватить и всем завладеть. Тебе нужно властвовать. А почему? Да по-

¹ *«Леди из Шалота»* — поэма А. Теннисона (1809–1892) из цикла произведений о рыцарях Круглого стола. Эта леди не выходила из дома, а на мир смотрела через отражение в зеркале.

² *Пифия* — прорицательница в храме Аполлона в Дельфах, славившемся на всю Элладу месте паломничества, куда стекались желающие узнать будущее.

тому, что ты неживая, ты не знаешь темной чувственной плоти жизни. Ты лишена чувственности. У тебя есть только воля, тщеславное сознание, жажда власти и знания.

Во взгляде, который он послал Гермione, смешались ненависть и презрение, а также боль, ибо она страдала, и стыд, потому что это страдание причинил он. Его охватило импульсивное желание пасть на колени и молить о прощении. Но тут новая волна неудержимого гнева накатила на него. Позабыв о жалости, он превратился в страстный глас:

— Стихийность! — вскричал он. — Ты и стихийность! Да ты самое расчётливое существо из всех, кто когда-либо ходил или ползал. Непосредственной ты можешь быть только по расчёту, это ты можешь. Ведь ты хочешь иметь все в своем распоряжении, в своем преднамеренно избирательном сознании. Заключить все в свою омерзительную черепушку, которую следовало бы расколоть, как орех. А иначе ничего не изменится, ты останешься все той же, пока твой череп не хрустнет, как раздавленное насекомое. Только тогда ты, может быть, превратишься в непосредственную, страстную женщину, наделенную естественной чувственностью. А пока твои желания сродни порнографии: ты разглядываешь себя в зеркалах, наблюдая за действиями нагого животного, чтобы потом перенести их в сознание, сделать ментальными.

В атмосфере ощущался привкус насилия — слишком много было сказано того, что невозможно простить. Однако после этой речи Урсула задумалась над решением собственных проблем. Вид у нее был бледный и отрешенный.

— Чувственное восприятие действительно так необходимо? — озадаченно спросила Урсула.

Взглянув на девушку, Беркин принялся внимательно растолковывать ей свою точку зрения.

— Да, — ответил он, — больше всего на свете. Это конечная цель — тайное великое знание, недоступное разуму, тайное стихийное существование. С одной стороны, это смерть для личности, но одновременно переход на другой уровень бытия.

— Но как такое может быть? Где, как не в человеческом мозгу, заключается знание? — спросила Урсула, не в силах постичь смысл его слов.

— В крови, — ответил он, — когда разум и внешний мир тонут во тьме — все должно сгинуть, обернуться потопом. Тогда-то в этой осязаемой тьме вы обретете себя в демоническом обличье...

— А почему так уж нужно быть в демоническом обличье? — спросила она.

— Где женщина о демоне рыдала¹, — процитировал Беркин. — Почему, не знаю.

¹ Герой цитирует строку из стихотворения английского поэта-романтика Сэмюэля Тейлора Кольриджа (1772–1834) «Кубла-хан» (1816). (Перевод К. Бальмонта.)

Неожиданно, словно из небытия, воскресла Гермiona.

— Он ужасный сатанист, правда? — подчеркнуто растягивая слова, проговорила она необычно резонирующим голосом, перешедшим в резкий издевательский смешок. Обе женщины с издевкой смотрели на Беркина, их насмешливые взгляды обращали его в ничтожество. Гермiona расхохоталась резким смехом одержавшей победу женщины, она презрительно смотрела на него, словно перед ней был не мужчина, а кастрат.

— Нет, — возразил он. — Ты настоящий демон, пожирающий жизнь.

Она посмотрела на него долгим взглядом, злобным и презрительным.

— Ты, похоже, разбираешься в этих вопросах? — сказала она с холодной насмешливостью.

— Достаточно, — отозвался он, и его лицо показалось Гермione вырезанным из закаленной стали. Ее охватило чувство невыносимого отчаяния и одновременно облегчения, свободы. Она непринужденно, как к хорошей знакомой, обратилась к Урсуле: — Так вы приедете в Бредэлби?

— С удовольствием, — ответила та.

Гермiona посмотрела на нее удовлетворенным, задумчивым и странно отсутствующим взглядом, как будто мысли ее витали в другом месте.

— Очень рада, — сказала она, беря себя в руки. — Недельки через две. Подходит? Я напишу вам сюда, на школу. Хорошо. И вы обязательно приедете? Хорошо. Я буду рада. До свидания! До свидания!

Гермiona протянула руку и заглянула в глаза другой женщины. Она увидела в Урсуле неожиданную соперницу, и это открытие странным образом ее подбодрило. К тому же она собралась уходить, а это всегда давало ей ощущение силы и превосходства. Более того, она увела с собой мужчину, пусть и ненавидящего ее.

Беркин с отрешенным видом стоял в стороне. Когда же пришел его черед прощаться, он вновь заговорил:

— Существует пропасть между чувственным, живым существованием и порочным умозрительным распутством, которым занимаются люди нашего круга. По ночам у нас всегда горит электричество, мы наблюдаем за собой, у нас никогда не отключается разум. Чтобы познать чувственную реальность, нужно полностью отключить разум и волю. Это необходимо. Прежде чем начать жить, нужно отречься от себя прежнего. Но мы очень тщеславны — вот в чем корень зла. Мы тщеславны и не горды. В нас нет ни капли гордости, мы полны тщеславия, чрезвычайно довольные собственным искусственным существованием. И скорее умрем, чем откажемся от мелкого самодовольного своеволия.

Беркину никто не возражал. Обе женщины хранили враждебное молчание. Казалось, он выступал с речью на митинге. Гермiona не обращала на него внимания, лишь неприязненно передернула плечами.

Урсула украдкой следила за Беркином, не осознавая полностью, что же все-таки она видит. Физически он был очень привлекателен — за худобой и бледностью ощущалась скрытая мощь, — она, словно голос за кадром, открывала о нем новое знание. Эта мощь таилась в изломе бровей, линии подбородка, тонких изысканных очертаниях, передающих неповторимую красоту самой жизни. Урсула не могла определить, что это такое, однако остро ощущала исходящие от мужчины силу и внутреннюю свободу.

— Но разве мы не обладаем, сами по себе, естественной чувственностью? — спросила она, обращаясь к Беркину, — в ее зеленоватых глазах мелькнул, как вызов, золотистый огонек смеха. И тут же в его глазах и бровях вспыхнула в ответ странно беспечная и удивительно привлекательная улыбка, не затронувшая, однако, сурово сжатых губ.

— Нет, — ответил он. — Не обладаем. Мы слишком эгоистичны.

— Но дело ведь не в тщеславии, — воскликнула Урсула.

— Только в нем, и ни в чем другом.

Она искренне изумилась такому ответу.

— А вам не кажется, что больше всего люди кичатся своей сексуальной силой? — спросила она.

— Поэтому их и нельзя назвать чувственными, они всего лишь сластолюбивые, а это совсем другое. Такие люди всегда помнят о себе, они настолько самодовольны, что вместо того, чтобы освободиться и жить в ином мире, вращающемся вокруг другого центра, они...

— Не сомневаюсь, что вы хотите выпить чашечку чая, не так ли? — проговорила Гермiona, подчеркнуто заботливо обращаясь к Урсуле. — Ведь вы работали целый день.

Беркин резко замолчал. Ярость и досада пронзили Урсулу. Лицо мужчины окаменело. Он попрощался так, словно перестал ее замечать.

Они ушли. Некоторое время Урсула стояла, глядя на закрывшуюся за ними дверь. Потом выключила свет и села на стул, потрясенная и потерянная. И вдруг неожиданно разрыдалась, слезы текли рекой, но что это было — слезы радости или горя — она не понимала.

Глава четвертая НЫРЯЛЬЩИК

Прошла неделя. В субботу зарядил дождь, легкий морозящий дождик, который то начинал накрапывать, то прекращался. В один из светлых промежутков Гудрун и Урсула отправились на прогулку в направлении Уилли-Уотер. День был пасмурный, птицы звонко распе-

вали на распушившихся молодой зеленью ветках, земля спешила покрыться растительностью. Женщины шли проворно, их бодрили и радовали доносящиеся из туманной дымки еле различимые, нежные утренние шумы. У дороги стоял обсыпанный белыми влажными цветами терн, золотистые крошечные тычинки нежно поблескивали в белом кружеве. В сероватом воздухе загадочно светились багровые ветки, высокий кустарник призрачно мерцал и только при приближении к нему становился самым собой. Утро было как первый день творения.

Сестры подошли к озеру. Внизу, вклиниваясь в затянутую влажной дымкой лужайку и рощицу, простиралась таинственная сероватая гладь воды. Из придорожных кустов жизнь заявляла о себе оживленными звуками, птицы щебетали, перебивая друг друга; доносился таинственный плеск воды.

Женщины медленно шли вперед. У края озера, недалеко от дороги, стоял под каштаном обросший мхом лодочный домик, рядом располагался небольшой причал, где легкой тенью на свинцовой глади покачивалась лодка, привязанная к зеленому обветшалому столбу. В преддверии лета все было смутно и призрачно.

Неожиданно из лодочного домика выскользнула белая фигура и, молниеносно пробежав по старому дощатому помосту, нырнула в озеро, описав светлую дугу и вызвав мощный всплеск; почти тут же пловец вынырнул на поверхность, оказавшись в центре расходящихся по воде кругов. Теперь все это призрачное водное царство принадлежало ему. Он скользил по незамутненной серой глади существующей извечно воды.

Стоя у каменной стены, Гудрун следила за пловцом.

— Как я ему завидую! — проговорила она тихим, полным тайного желания голосом.

— Брр, — поежилась Урсула. — Вода такая холодная!

— Ты права. Но все же как прекрасно вот так плыть!

Сестры стояли и следили за пловцом, который мелкими ритмичными движениями продвигался все дальше по серой водной глади под аркой из тумана и склоненных над водой деревьев.

— Разве ты не хотела бы быть на его месте? — спросила Гудрун, глядя на Урсулу.

— Хотела бы, — ответила Урсула. — Впрочем, не уверена, очень сыро.

— Всего нет, — неохотно сказала Гудрун. Она неотрывно, словно зачарованная, следила за тем, что происходило на поверхности озера. Проплыв немного, мужчина повернул обратно и теперь смотрел в ту сторону, где стояли у стены женщины. Идущая от его рук слабая волна не помешала сестрам разглядеть раздумывавшееся лицо; они поняли, что он их заметил.

— Это Джеральд Крич, — сказала Урсула.

— Я вижу, — отозвалась Гудрун.

Она неподвижно стояла, глядя в лицо упорно плывущего человека, — оно то погружалось в воду, то выныривало из нее. Он видел их из другой стихии и, будучи сейчас властелином одного из миров, радовался своему преимуществу. Неуязвимый и совершенный, он испытывал наслаждение от энергичных, рассекающих воду бросков собственного тела и обжигающе холодной воды. Он видел стоящих на берегу женщин, они провожали его глазами, и это было ему приятно. Он поднял над водой руку, приветствуя их.

— Он нам машет, — сказала Урсула.

— Да, — отозвалась Гудрун. Они продолжали смотреть в его сторону. Джеральд помахал снова. Странно, что он узнал их, несмотря на расстояние.

— Он похож на нибелунга, — рассмеялась Урсула. Гудрун промолчала, все так же глядя на воду.

Неожиданно Джеральд развернулся и быстро поплыл кролем в противоположную сторону. Он был один сейчас, один и в полной безопасности посреди водной стихии, принадлежавшей только ему. Он наслаждался ощущением одиночества в обособленном мире, бесспорном и абсолютном. Разрезая воду ногами, пронзая ее всем своим телом, он был счастлив, не ощущая никаких уз или оков — только он и вода вокруг.

Гудрун едва ли не до боли завидовала ему. Даже это недолгое пребывание в полном одиночестве посреди водной стихии казалось ей столь желанным, что она, стоя на берегу, ощутила себя отверженной.

— Господи, как же здорово быть мужчиной! — воскликнула она.

— Что ты имеешь в виду? — удивилась Урсула.

— Свободу, независимость, движение! — продолжала необычно раскрасневшаяся и сияющая Гудрун. — Если ты мужчина и чего-то хочешь, ты просто это делаешь. У тебя нет той тысячи препятствий, что всегда стоят перед женщиной.

Урсуле стало интересно, что вызвало у Гудрун этот взрыв эмоций. Она не могла этого понять.

— А что бы ты хотела сделать? — спросила она.

— Ничего, — воскликнула Гудрун, отвергая подозрение в личной заинтересованности. — Однако предположим, что у меня есть желание. Предположим, я тоже хотела бы сейчас поплавать. Но это невозможно — вступает в силу один из негласных запретов: я не имею права сбросить одежду и нырнуть в воду. Разве это не смешотворно, разве это не мешает жить?

Гудрун раскраснелась, она просто клокотала от ярости; все это озадачило Урсулу.

Сестры зашагали по дороге дальше. Они шли через рощицу немного ниже Шортлендза и не могли не бросить взгляд на длинный низкий

дом, величественно проступавший в утреннем тумане. Кедры клонились к его окнам. Гудрун особенно внимательно разглядывала дом.

— Тебе не кажется, что он красивый? — спросила она.

— Очень красивый, — ответила Урсула. — Мирный и уютный.

— В нем есть стиль и чувство эпохи.

— Какой эпохи?

— Наверняка восемнадцатый век... Дороти Вордсворт и Джейн Остин¹, разве не так?

Урсула рассмеялась.

— Разве не так? — повторила вопрос Гудрун.

— Возможно. Однако не думаю, что Кричи так уж озабочены сохранением исторического колорита. Мне известно, что Джеральд устанавливает частную электростанцию, чтобы провести в дом электричество, и не пропускает ни одного новейшего усовершенствования.

Гудрун нетерпеливо пожалала плечами.

— Без этого не обойтись, — сказала она.

— Да уж, — рассмеялась Урсула. — В Джеральде энергии хватит на несколько поколений. За это его терпеть не могут. Того, кто ему мешает, он просто берет за шиворот и отбрасывает со своего пути. Когда он все в имении усовершенствует, ему нечем будет заняться, и тогда придется умереть. Чего-чего, а энергии у него хоть отбавляй.

— Да, этого у него не отнять, — согласилась Гудрун. — Скажу больше, я еще ни разу не встречала такого мужчину. Вопрос в том, на что направлена его энергия, на что она тратится.

— На это просто ответить, — сказала Урсула. — На использование новейших устройств.

— Похоже, что так, — согласилась Гудрун.

— Ты знаешь, что он застрелил своего брата? — спросила сестру Урсула.

— Застрелил брата? — воскликнула Гудрун, хмурясь и этим выражая неодобрение.

— Неужели ты не знала? Я думала, знаешь. Они играли с ружьем. Джеральд велел брату смотреть в дуло, ружье оказалось заряженным, и у мальчика снесло полголовы. Не правда ли, жуткая история?

— Ужасная! — вскричала Гудрун. — Давно это случилось?

— О да! Они были совсем детьми, — сказала Урсула. — Это один из самых страшных случаев, какие я знаю.

— Он, конечно, не знал, что ружье заряжено?

— Естественно. Ружье было старое, много лет провалялось в конюшне. Никому даже в голову не приходило, что из него можно стрелять или что оно заряжено. Но какой ужас, что такое случилось!

¹ Героиня вспоминает двух женщин, ставших символами культуры и быта рубежа XVIII—XIX веков: сестру и помощницу поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770—1850) *Дороти* (1771—1855), много лет делившую с ним жизнь в сельском уединении, и автора нравоописательных романов Джейн *Остин* (1775—1817), делившую писательский труд с разнообразными домашними хлопотами.

— Страшно подумать! — воскликнула Гудрун. — И самое ужасное, что несчастье произошло с ребенком: ведь ему всю жизнь предстоит винить себя за это. Только вообрази себе, два мальчика играют вместе — и вдруг ниоткуда, безо всяких причин, на них обрушивается такое. Урсула, это очень страшно! Это одна из тех вещей, которые я не могу вынести. Убийство — куда ни шло: ведь за ним стоит чья-то воля. Но когда случается такое...

— Возможно, и тут не обошлось без некоего подсознательного импульса, — сказала Урсула. — За игрой в войну всегда стоит извечное желание убивать, ты так не думаешь?

— Желание! — холодно и даже несколько высокомерно проговорила Гудрун. — Не думаю, чтобы они играли в войну. Скорее всего, один сказал другому: «Загляни в дуло, а я нажму на курок, и посмотрим, что будет». Нет сомнений — это чистой воды несчастный случай.

— Нет, — возразила Урсула. — Даже зная, что ружье не заряжено, я никогда бы не спустила курок, если б кто-то смотрел в дуло. Простой инстинкт не позволит этого сделать.

Гудрун помолчала, но было видно, что она не разделяет мнения сестры.

— Естественно, — проговорила она ледяным голосом. — Если ты женщина и к тому же взрослая, то инстинктивно удержишься от такого поступка. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к игре двух мальчишек.

Голос ее звучал сухо и раздраженно.

— Имеет, — упорствовала Урсула. В этот момент сестры услышали в нескольких метрах от себя громкий женский голос:

— Черт возьми!

Пройдя немного вперед, они увидели по другую сторону забора Лору Крич и Гермиону Роддайс; Лора Крич пыталась открыть калитку, чтобы выйти наружу. Урсула поторопилась прийти ей на помощь и подняла затвор.

— Большое спасибо, — поблагодарила ее раскрасневшаяся, похожая на амазонку Лора, выглядевшая немного смущенной. — Что-то не в порядке с петлями.

— Да, — согласилась Урсула. — Они очень тугие.

— Странно! — воскликнула Лора.

— Здравствуйте! — пропела с лужайки Гермиона, как только убедилась, что ее слышат. — Прекрасная погода! Гуляете? Хорошо. Не правда ли, молодая зелень просто великолепна? Такая красивая, такая яркая. Доброе утро, доброе утро... Вы ведь навестите меня? Большое спасибо. Значит, на следующей неделе, хорошо... до свидания, до свидания...

Гудрун и Урсула стояли, глядя, как она медленно кивает головой и, вымученно улыбаясь, машет рукой, как бы отпуская их. Странная, высокая, пугающая фигура с падающими на глаза густыми белокуры-

ми волосами. Сестры двинулись дальше с ощущением, что им позволили уйти, — так отпускают подчиненных. Четыре женщины расстались.

Когда сестры отошли достаточно далеко, Урсула с пылающими от негодования щеками проговорила:

— Я нахожу ее невыносимой.

— Кого? Гермиону Роддайс? — спросила Гудрун. — Почему?

— Она ведет себя вызывающе.

— Что такого вызывающего ты в ней видишь? — холодно поинтересовалась Гудрун.

— Все ее поведение вызывающе. Это невыносимо. Она груба в обращении с людьми. Просто издевается. Нахалка. «Приезжайте меня навестить» — это говорится так, словно мы прыгать должны от счастья, что нас удостоили такой чести.

— Не понимаю, Урсула, почему это тебя так волнует? — спросила Гудрун, не в силах скрыть раздражения. — Всем известно, что независимые женщины, порвавшие с аристократическим окружением, всегда отличаются дерзким нравом.

— Но в этом нет необходимости, это вульгарно! — воскликнула Урсула.

— Я так не считаю. А если бы и считала — *pour moi elle n'existe pas*¹.

Я не допущу, чтобы она дерзила мне.

— Думаешь, ты ей нравишься?

— Конечно, не думаю.

— Тогда зачем она зовет тебя в Бредэлби погостить?

Гудрун пожала плечами.

— В конце концов, у нее хватает ума понять, что мы не такие, как все, — ответила она. — Уж дурочкой ее никак не назовешь. А я скорее предпочту иметь дело с тем, кто мне не нравится, чем с заурядной женщиной, цепляющейся за свой круг. Гермиона Роддайс многим рискует.

Урсула некоторое время обдумывала слова сестры.

— Сомневаюсь, — возразила она. — Ничем она не рискует. Мы что, должны восхищаться ею, зная, что она может пригласить нас, школьных учительниц, к себе без всякого риска для себя?

— Вот именно, — подтвердила Гудрун. — Подумай, ведь множество женщин не осмелились бы так поступить! Она лучшим образом использует свое положение. Думаю, на ее месте мы вели бы себя так же.

— Ну уж нет, — возразила Урсула. — Ни за что. Мне было бы скучно. Никогда не стала бы тратить время на подобные игры. Это *infra dig*².

¹ Для меня она не существует (*фр.*).

² Ниже моего достоинства (*лат.*).

Сестры напоминали ножницы, разрезающие все, что оказывается между ними, или нож и точильный камень — когда один затачивается о другой.

— Ей следует возблагодарить небо, если мы удостоим ее своим посещением, — неожиданно воскликнула Урсула. — Ты ослепительно красива, в тысячу раз красивее ее, она никогда такой не была и не будет, и, на мой взгляд, в тысячу раз лучше одета: ведь она никогда не выглядит свежей и естественной, как цветок, а напротив, кажется разнообразной и искусственной; и кроме того, мы многих умнее.

— Вне всякого сомнения! — согласилась Гудрун.

— И это следует признавать, — прибавила Урсула.

— Конечно, — сказала Гудрун. — Но со временем ты поймешь, что шикарнее всего быть совершенно обыкновенной, простой и заурядной, как женщина с улицы, создать своего рода шедевр — не копию такой женщины, а ее художественное воплощение...

— Какой ужас! — вскричала Урсула.

— Да, Урсула, это может показаться ужасным. Но надо изображать ту, что является поразительно *à terre*¹, настолько *à terre*, что ясно: это художественное воплощение заурядности.

— Скучно становиться тем, кто не интереснее тебя, — засмеялась Урсула.

— Очень скучно, — подхватила Гудрун. — Ты права, Урсула, это действительно скучно, ты нашла правильное слово. Хочется говорить высоким слогом и произносить речи в духе Корнеля².

Возбужденная собственным остроумием, Гудрун вся покраснела.

— Хочется быть лебедем среди гусей, — сказала Урсула.

— Точно! — воскликнула Гудрун. — Лебедем среди гусей.

— Все старательно играют роли гадких утят, — продолжала Урсула с шутивным смехом. — А вот я совсем не чувствую себя скромным и трогательным гадким утенком. Я на самом деле ощущаю себя лебедем в стае гусей и ничего не могу с этим поделать. Меня заставляют так себя чувствовать. И плевать, что обо мне думают. *Je m'en fiche*³.

Гудрун бросила на Урсулу странный взгляд, полный смутной зависти и неприязни.

— Единственно правильная вещь — это презирать их всех, всех подряд, — сказала она.

Сестры вернулись домой, стали читать, разговаривать, работать в ожидании понедельника, начала занятий в школе. Урсула часто задумывалась, чего еще она ждет, помимо начала и конца рабочей недели, начала и конца каникул. И так проходит жизнь! Иногда ей казалось,

¹ Заурядной (*фр.*).

² *Корнель*, Пьер (1606–1684) — французский драматург, один из основоположников классицизма в европейской драматургии.

³ Плевать (*фр.*).

что жизнь будет так длиться и дальше и никогда ничего в ней уже не изменится, и тогда Урсулу охватывал тихий ужас. Но она никогда с этим внутренне не примирялась. У нее был живой ум, а жизнь напоминала росток, который постепенно зрел, но еще не пробился сквозь землю.

Глава пятая В ПОЕЗДЕ

Приблизительно в то же время Беркина вызвали в Лондон. Он не задерживался подолгу в одном месте, хотя имел квартиру в Ноттингеме: чаще всего он работал в этом городе. Однако Беркин бывал и в Лондоне, и в Оксфорде. Ему приходилось много ездить, его жизнь была, по сути, не устоявшейся, не вошедшей в определенную колею, лишенной определенного ритма и органичной цели.

На платформе вокзала он заметил Джеральда Крича, тот в ожидании поезда читал газету. Беркин находился от него в некотором отдалении, в окружении людей. Инстинктивно он никогда ни к кому не подходил первым.

Время от времени, в характерной для него манере, Джеральд поднимал голову и оглядывался. Хотя газету он читал внимательно, ему также необходимо было следить за происходящим вокруг, словно он обладал раздвоенным сознанием. Обдумывая заинтересовавший его газетный материал, Джеральд в то же время не упускал из вида то, что происходило вокруг. Наблюдавшего за ним Беркина эта раздвоенность раздражала. Он также заметил, что Джеральд всегда держится настороже с другими людьми, хотя умеет скрыть это под внешней доброжелательностью и светскостью.

Беркин вздрогнул, увидев, как приветливая улыбка осветила заметившего его Джеральда, тот тут же направился к нему, еще издали протягивая для приветствия руку.

— Здравствуй, Руперт! Куда держишь путь?

— В Лондон. Полагаю, и ты туда же.

— Ты прав...

Джеральд с интересом смотрел на Беркина.

— Хочешь, поедем вместе? — предложил он.

— Разве ты не всегда путешествуешь первым классом?

— Не выношу тамошней публики, — ответил Джеральд. — Третий будет в самый раз. В поезде есть вагон-ресторан, там можно выпить чаю.

Не зная, о чем еще говорить, мужчины одновременно взглянули на вокзальные часы.

— Что тебя так заинтересовало в газете? — спросил Беркин.

Джеральд метнул на него быстрый взгляд.

— Удивительно, чего только не пишут в газетах, — сказал он. — Вот две передовые статьи, — Джеральд протянул «Дейли телеграф», — полные обычного журналистского треп, — он бегло просмотрел колонки, — и тут же рядом небольшое... не знаю, как назвать... возможно, эссе, где говорится, что должен прийти человек, который откроет для нас новые ценности, провозгласит новые истины, научит новому отношению к жизни, — в противном случае через несколько лет все мы превратимся в ничтожество, а страна — в руины...

— Думаю, это такой же журналистский треп, как и все остальное, — сказал Беркин.

— Нет, похоже, автор действительно так считает — статья искренняя, — отозвался Джеральд.

— Дай взглянуть, — попросил Беркин, протягивая руку за газетой.

Подождал поезд, они вошли в вагон и сели напротив друг друга за столик у окна в вагоне-ресторане. Беркин бегло просмотрел статью и взглянул на Джеральда, который дожидался его реакции.

— Думаю, автор честен — насколько способен, — сказал он.

— Ты с этим согласен? И мы на самом деле нуждаемся в новом Евангелии? — спросил Джеральд.

Беркин пожал плечами.

— Я думаю, что люди, болтающие о необходимости новой религии, меньше других способны принять нечто новое. Они действительно хотят перемен. Но хорошенько всмотреться в жизнь, которую сами создали и затем отвергли, разнести вдребезги прежних кумиров — нет, на это они не пойдут. Чтобы появилось нечто новое, нужно всей душой хотеть избавиться от старого — даже в самом себе.

Джеральд внимательно следил за развитием его мысли.

— Значит, ты считаешь, что вначале следует покончить с нынешним существованием, просто взять и послать его к чертям собачьим? — спросил он.

— Нынешнее существование? Да, именно так я считаю. Нужно сломать ему хребет, или мы высохнем внутри его, как в тесном кожаном футляре. Ведь кожа больше не растягивается.

В глазах у Джеральда зажегся веселый огонек, он смотрел на Беркина с интересом и холодным любопытством.

— И с чего ты предлагаешь начать? Наверное, с реформирования общественного порядка? — спросил он.

Беркин слегка нахмурил брови. Этот разговор затронул его за живое.

— Я вообще ничего не предлагаю. Если мы действительно захотим чего-то лучшего, то разнесем старые устои. До тех пор все идеи, все попытки что-то предложить — всего лишь нудная игра для людей с большим самомнением.

Вспыхнувший было огонек померк в глазах Джеральда, и, глядя холодным взглядом на Беркина, он произнес:

— Значит, дела очень плохи?

— Хуже не бывает.

Огонек вновь вспыхнул.

— В чем конкретно?

— Да во всем, — сказал Беркин. — Все мы отчаянные луны. Наше любимое занятие — лгать самим себе. У нас есть идеал совершенного мира, чистого, добродетельного и богатого. И потому мы, по мере сил, загрязняем землю; жизнь — это грязный труд, как у копошащихся в навозе насекомых, и все для того, чтобы ваши шахтеры могли поставить у себя дома фортепиано, вы — завести лакеев, автомобиль и жить в новомодном доме, а мы — как нация — гордиться «Ритцем» или империей, Габи Дели¹ и воскресными газетами. Все это очень печально.

Джеральду потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями после этой тирады.

— Ты хочешь, чтобы мы не жили в домах, вернулись к природе? — спросил он.

— Ничего я не хочу. Люди делают только то, что хотят и могут. Будь они способны на другое, все изменилось бы.

Джеральд вновь задумался. Он не собирался обижаться на Беркина.

— А тебе не кажется, что фортепиано, как ты его называешь, — это символ чего-то настоящего, реального желания сделать жизнь шахтера более возвышенной?

— Возвышенной! — вскричал Беркин. — Как же! Поразительные высоты фортепианного великолепия! Обладатель инструмента сразу же вырастает в глазах соседей. Вырастает на несколько футов, как в брокенском тумане, и все из-за пианино, и это его радует. Он и живет ради этого брокенского эффекта — своего отражения в глазах окружающих. И ты здесь ничем от него не отличаешься. Если ты кажешься значительным другим людям, то и сам считаешь себя таковым. Ради этого ты усердно трудишься на своих угольных шахтах. Добывая столько угля, что на нем можно приготовить пять тысяч обедов в день, ты становишься в пять тысяч раз значительнее, чем если бы варил обед только себе.

— Надеюсь, — рассмеялся Джеральд.

— Неужели ты не понимаешь, — продолжал Беркин, — что, помогая соседу прокормиться, ты ничем не лучше человека, который кормит только себя. «Я ем, ты ешь, он ест, мы едим, вы едите, они едят...» Ну и что с того? Зачем человеку распространяться на все спржение? Мне достаточно первого лица единственного числа.

— Приходится начинать с материальных вещей, — сказал Джеральд.

¹ Дели, Габи (1881—1920) — французская актриса, с успехом гастролировавшая в разных странах Европы в 1900—1910-е годы; во время Первой мировой войны шпионила на пользу союзников против немцев.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ

Предисловие автора	7
<i>Глава первая</i>	9
<i>Глава вторая</i>	15
<i>Глава третья</i>	20
<i>Глава четвертая</i>	29
<i>Глава пятая</i>	36
<i>Глава шестая</i>	47
<i>Глава седьмая</i>	58
<i>Глава восьмая</i>	70
<i>Глава девятая</i>	79
<i>Глава десятая</i>	89
<i>Глава одиннадцатая</i>	118
<i>Глава двенадцатая</i>	132
<i>Глава тринадцатая</i>	143
<i>Глава четырнадцатая</i>	156
<i>Глава пятнадцатая</i>	170
<i>Глава шестнадцатая</i>	183
<i>Глава семнадцатая</i>	202
<i>Глава восемнадцатая</i>	217
<i>Глава девятнадцатая</i>	230

СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ

Часть первая

<i>Глава первая</i> . Первые супружеские годы Морелов	245
<i>Глава вторая</i> . Рождение Пола и еще одно сражение	267
<i>Глава третья</i> . Отход от Морела — сражение за Уильяма	282
<i>Глава четвертая</i> . Юные годы Пола	293
<i>Глава пятая</i> . Пол бросается в жизнь	315
<i>Глава шестая</i> . Смерть в семье	342

Часть вторая

<i>Глава седьмая.</i> Юношеская любовь	368
<i>Глава восьмая.</i> Любовный поединок	401
<i>Глава девятая.</i> Поражение Мириам	432
<i>Глава десятая.</i> Клара	465
<i>Глава одиннадцатая.</i> Испытание Мириам	487
<i>Глава двенадцатая.</i> Страсть	507
<i>Глава тринадцатая.</i> Бакстер Доус	542
<i>Глава четырнадцатая.</i> Освобождение	574
<i>Глава пятнадцатая.</i> Брошенный	601

ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

<i>Глава первая.</i> Сестры	613
<i>Глава вторая.</i> Шортлендз	627
<i>Глава третья.</i> Классная комната	638
<i>Глава четвертая.</i> Ныряльщик	647
<i>Глава пятая.</i> В поезде	654
<i>Глава шестая.</i> Crème de menthe	662
<i>Глава седьмая.</i> Тотем	675
<i>Глава восьмая.</i> Бредэлби	680
<i>Глава девятая.</i> Угольная пыль	705
<i>Глава десятая.</i> Альбом для рисования	713
<i>Глава одиннадцатая.</i> Остров	716
<i>Глава двенадцатая.</i> Подборка ковров	726
<i>Глава тринадцатая.</i> Мино	734
<i>Глава четырнадцатая.</i> Праздник на воде	744
<i>Глава пятнадцатая.</i> Воскресный вечер	776
<i>Глава шестнадцатая.</i> Мужчины наедине	783
<i>Глава семнадцатая.</i> Промышленный магнат	794
<i>Глава восемнадцатая.</i> Кролик	813
<i>Глава девятнадцатая.</i> В лунном свете	822
<i>Глава двадцатая.</i> Схватка	841
<i>Глава двадцать первая.</i> Начало	851
<i>Глава двадцать вторая.</i> Женщины наедине	864
<i>Глава двадцать третья.</i> Прогулка	873
<i>Глава двадцать четвертая.</i> Смерть и любовь	891
<i>Глава двадцать пятая.</i> Быть ли браку	916
<i>Глава двадцать шестая.</i> Кресло	920
<i>Глава двадцать седьмая.</i> Переезд	929
<i>Глава двадцать восьмая.</i> Гудрун в кафе «Помпадур»	943
<i>Глава двадцать девятая.</i> На континенте	949
<i>Глава тридцатая.</i> Занесенные снегом	998
<i>Глава тридцать первая.</i> Эпилог	1028